**Троцук И.В.**

**Теория и практика нарративного анализа в социологии.** Монография. – М.: Издательство «Уникум-центр», 2006. – 207 с.

В монографии рассматривается проблема определения «статуса» нарративного анализа в социологии с точки зрения возможностей его практического применения. Для этого систематизированы исходные философские, психологические, лингвистические и историографические предпосылки аналитической работы с нарративами личного опыта в широкой междисциплинарной перспективе; обозначена позиция нарративного анализа в структуре методического арсенала социологического исследования; предложено «операциональное» определение нарративного анализа и возможные алгоритмы его реализации; представлен вариант упорядочения конкретных приемов аналитической работы с нарративами по степени их относительной формализации.

Издание предназначено для социологов, студентов магистратуры и аспирантов, и широкого круга заинтересованных читателей.

© Троцук И.В.

#### *«Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона,*

#### *что нам хочется … признаться во всем до конца никто не может …*

#### *в то же время без признаний выразить себя никак нельзя…*

#### *человек – это литература»[[1]](#footnote-1)*

#### *ПРЕДИСЛОВИЕ*

Предисловие призвано представить содержание книги в достаточно широком контексте, объяснив причины возникновения темы и задав некий «верный» вектор ее восприятия читателем. В качестве основной причины появления книги выступает, вероятно, желание автора разобраться в том, что же представляет собой столь дивно звучащее словосочетание «нарративный анализ», но не в общенаучном масштабе, а применительно к своей профессиональной области – социологии. Уже, по крайней мере, лет десять-пятнадцать понятия «нарратив» и «нарративный анализ» являются модными, но не имеют точного определения и используются достаточно произвольно в различных значениях в разных контекстах. В этом смысле автор не является единственным создателем представленного текста – его написание основано на анализе уже существующих источников теоретико-методологического плана и результатов социологических исследований различной тематики. Что же касается навязывания читателю нужного восприятия текста, то эта задача нереализуема. Непокорный читатель всегда склонен понимать информацию иначе, чем планировал автор: последний полностью теряет контроль над содержанием работы, но это и прекрасно – как сама тема, так и ее раскрытие предлагают читателю поразмышлять над категориальным аппаратом современного социологического знания в междисциплинарной перспективе, приглашая к альтернативным трактовкам.

Восьмидесятые годы ХХ века ознаменовали собой начало «*нарративного поворота*» [Трубина, 2002] – его лейтмотивом стало утверждение, что функционирование различных форм знания можно понять только через рассмотрение их нарративной, повествовательной, природы. Это положение дополнило требование *«лингвистического поворота»* считать исследования в области социальных, политических, психологических и культурных проблем языковыми. В итоге понятие нарратива оказалось в центре внимания не только нарратологии, специальной, ему посвященной дисциплины, но и за ее пределами, – как в социально-гуманитарных, так и в естественных науках: «в медицине, праве, истории, историографии, антропологии и психотерапии нарративы составляют продукты научной деятельности; в философии, культурологии, теологии – скорее поглощаются и перемалываются в аналитических жерновах» [Franzosi, 1998, p.518].

Исследователи в сфере нарратологии (Ж.М. Адам, Ж. Женетт, Т. Павел, Ш. Римон-Кеннан, Дж. Принс и др.) связывают факт значительного увеличения «нарративных» исследований с осознанием важности повествований в человеческой жизни – они сосредоточены не только в литературных текстах и повседневном языке, но и в научном дискурсе. Практики композиции и репрезентации исследуются в «музыкологии», художественной критике и киноведении; способы достижения различными видами власти собственной легитимации через нарративы – в культурологии; нарратологические объяснительные схемы используются в психологии для изучения памяти и понимания; в философии и социологии науки изучение условностей повествования привлекается для обоснования риторической природы научных текстов. Интерес к нарративу объясняется, в первую очередь, его способностью «давать выход стремлению человека к самомоделированию, дарить ему опыт непривычной податливости мира и ощущение безграничного потенциала собственного саморазвития» [Семейные узы, 2004, с.62].

Большая часть работ, посвященных нарративному анализу, носит междисциплинарный характер, что связано с социально-философским осмыслением феномена нарративизации научного знания. Его основания изложены в работах Х. Абельса, Ф. Анкерсмита, Р. Барта, В.В. Бибихина, И. Брокмейера и Р. Харре, П. Бурдье, И.А. Бутенко, А.В. Воробьевой, К. Гирца, В.И. Дудиной, Г.И. Зверевой, Н.Е. Копосова, А.М. Кузнецова, Ж.‑Ф. Лиотара, Н.С. Рябинской, Э. Свидерского, В.Н. Сырова. Ключевые методологические параметры разработки нарративной проблематики в рамках специальной лингвистической дисциплины, нарратологии, суммированы в работах И.С. Веселовой, В. Лабова и Дж. Валецки, Л. Лёфгрена, Дж. Манфреда, Е.Г. Трубиной. Лингвистические трактовки нарратива дополняет нарративная психология, представленная работами Т. Сарбина, К. Гергена, М. Росситера, в которых нарратив рассматривается как теоретический подход и метод («кейс-нарратив»), позволяющий оценивать и переструктурировать самоидентичность человека.

Традиционное название нарративного анализа − «сюжетный» анализ − говорит о том, что изначально он основан на принципах структурного рассмотрения текста, выдвинутых в начале ХХ века представителями структуралистского направления в лингвистике (Р. Барт, К. Леви-Строс, Ц. Тодоров). Известный своими нарратологическими изысканиями лингвист В. Лабов считает нарративный анализ «побочным продуктом» своего социолингвистического исследования афро-американского диалекта в Южном Гарлеме начала 1960-х годов. Лабов сформулировал принципы структурного анализа нарратива, которые были развиты Ф. Анкерсмитом, Д. Хейзом и Р. Мелло. В целом отечественные исследователи по преимуществу занимаются проблемами аналитической работы с нарративами личного опыта, тогда как зарубежные авторы понимают нарративный анализ значительно шире – как работу с любыми законченными повествованиями в форме объективированного текста (например, с публикациями в средствах массовой информации).

Сегодня социологи обращаются к нарративу (и нарративности) как определяющему методологическому принципу познания индивидуальных и социальных практик. Но, несмотря на широкое использование понятий «нарратив» и «нарративный анализ» в рамках эмпирических социологических исследований, они до сих пор не получили однозначной теоретической и операциональной интерпретации как в формальном, так и содержательном отношении. Работ, посвященных комплексному теоретико-методологическому анализу данных понятий в социологии, практически нет – исключение составляют исследования Е.Р. Ярской-Смирновой и Р. Францози. В основном понятия нарратива и нарративного анализа используются в публикациях по результатам социологических исследований различной тематики (оценка потенциала социально-экономической адаптации населения, выявление риторического измерения научных текстов и сообщений средств массовой информации, показ гендерного измерения профессиональных карьер, реконструкция истории семьи/поколения или жизненных стратегий одиноких, «социально нетипичных» людей и т.д.). Нарратив здесь выступает как синоним секвенций транскриптов качественных интервью, а нарративный анализ – как обозначение приемов аналитической работы с подобными текстовыми данными.

Хотя рассматриваемые понятия сегодня стали практически общеупотребительными, их «статус» в социологии не очевиден и не определен. Нарратив как лингвистический, культурный и социальный феномен лежит в основе качественного социологического подхода, однако до сих пор не стал предметом специального систематического теоретико-методологического исследования, несмотря на то, что «нарративы просто напичканы социологической информацией, а большинство эмпирических данных в социологии имеют нарративную форму − даже результаты анкетного опроса часто скрывают за числами значимые нарративы» [Franzosi, 1998, p.518]. Более того, многие западные исследователи считают, что понятие «качественное исследование» должно быть заменено на «нарративное исследование», что подчеркнет многомерность и гетерогенность анализируемых феноменов, а также выполнение полевым исследователем одновременно целого ряда функций – автора, редактора и рассказчика.

В свете всего вышесказанного автор попытался оценить возможности и ограничения применения нарративного анализа в социологии, рассмотрев его в широкой междисциплинарной перспективе. Для решения поставленной задачи в монографии представлены особенности разработки нарративной проблематики в значимых для социологической трактовки нарратива областях знания (философии, лингвистике, психологии и истории); обозначены методологические основания нарративизации социологического знания (формирования «нарративной социологии»); дано определение нарратива в соотношении с контекстуально близкими ему понятиями «наивной литературы», метанарратива и дискурса; проведено сопоставление нарративного анализа с иными вариантами текстологического анализа; определено положение нарративного анализа в рамках качественного подхода; систематизированы конкретные варианты реализации нарративного анализа в социологическом исследовании; обозначены ключевые критические замечания в его адрес.

Безусловно, автор не претендует на полный и исчерпывающий анализ нарративной проблематики в социологии – это недостижимая цель для отдельно взятого исследования одного человека. Автор просто попытался очертить и структурировать то проблемное поле, которое оформляет понятия нарратива и нарративного анализа в социологических исследованиях, создав тем самым основу, с одной стороны, для дальнейших научных изысканий по нарративной проблематике, с другой – для выбора конкретных аналитических приемов работы с текстовыми данными социобиографического характера.

***ГЛАВА 1.***

***НАРРАТИВ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ***

***МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ***

***В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ***

Прежде чем говорить о нарративе как междисциплинарном конструкте, необходимо обозначить *теоретико-методологические основания* *«нарративного поворота»*. В качестве первого из них выступает отказ науки от мечты об исчерпывающем знании [Пригожин, 1991] – принятие идеи нестабильности, исключение детерминизма и признание темпоральности создают новое отношение к миру, предполагающее сближение деятельности ученого и литератора. Литературное произведение предлагает читателю открытое для многочисленных вариантов развития сюжета описание исходной ситуации. В современной науке вырисовываются аналогичные контуры рациональности: «нарративное знание выражено в различного рода повествованиях ... не придает большого значения вопросу своей легитимации, подтверждает само себя через передачу своей прагматики и потому не прибегает к аргументации или приведению доказательств … соединяет непонимание проблем научного дискурса с определенной толерантностью к нему» [Лиотар, 1998, с.69-70]. Отличие нарративного от традиционного научного знания состоит в том, что элементами первого являются высказывания, а второго – части высказываний, теоретические понятия [Анкерсмит, 2003a, с.162].

Во-вторых, это перенос интересов науки с анализа объективных социальных явлений на исследование субъективности «в связи с осознанием человека как активного социального субъекта, под влиянием которого осуществляются основные преобразования как в макро-, так и в микромире» [Бутенко, 2000, с.3]. Основной трансформацией ХХ века стало обретение человеком личной сферы, индивидуализация каждой судьбы – в итоге, как отмечает Э. Гидденс, прежние междисциплинарные границы в социальных науках утрачивают былую четкость, а взаимодействие социальных и гуманитарных наук в изучении человека становится особенно тесным [1993]. Согласно М. Фуко, «наука о человеке возникает только там, где мы рассматриваем тот способ, которым индивиды или группы представляют своих партнеров по производству или обмену; тот способ, посредством которого они выявляют, скрывают или теряют из виду само это функционирование и свое место в нем; тот способ, которым они представляют себе общество, в котором функционирование осуществляется; тот способ, которым они интегрируются в это общество или изолируются от него, ощущая себя зависимыми, подчиненными или же свободными» [Фуко, 1994, с.372]. Нарративы индивидуального опыта позволяют «видеть», описывать и понимать эти «способы».

В-третьих, это трактовка сознания как совокупности текстов, признание возможности множественной интерпретации каждого текста и видение общества и культуры как единства размытых, децентрированных структур в постмодерне. Для рассмотрения нарративной проблематики постмодерн примечателен в силу двух причин [Кузнецов, 2000, с.56-57]: 1) он предельно обострил проблему текста, указав на принципиальную невозможность его однозначной оценки, и проблему познания, отметив опосредованное отношение текстовой реальности к «отображаемому» внешнему миру; 2) своей размытостью и неопределенностью обозначил проблему человека – поскольку множество людей порождает множество интерпретаций, «вместо построения теоретической модели средствами собственного языка и следуя путями уже заданных правил, исследователю предстоит изучить социальный мир в его фрагментарном состоянии» [Добрякова, 2001, с.46-47]. «И отраженная в тексте действительность, и создающие текст авторы, и исполнители текста (если они есть), и слушатели-читатели, воссоздающие и, тем самым, обновляющие текст, равно участвуют в создании изображенного в тексте мира» [Бахтин, 2000, с.187-188]: нельзя отождествлять изображенный мир с действительным (наивный реализм), а автора-творца произведения с автором-человеком (наивный биографизм) – текст и изображенный в нем мир обогащают действительность, а реальный мир обновляет текст в творческом восприятии слушателей-читателей.

В методологическом плане постмодерн сформулировал метод текстологического исследования (деконструкцию), предполагающий выявление внутренней противоречивости текста и скрытых в нем «остаточных смыслов» (неосознаваемых стереотипов) [Огурцов, 2001], а также изменил позицию ученого: «с одной стороны, он призван научно изучать общественное бытие и сознание, с другой – он сам является членом изучаемого общества … и его процедуры интерпретации лишь частично оказываются строго логичными и научными, а в основном опираются на неявное знание, которое он разделяет с остальными членами своего общества» [Социальные процессы…, 2000]. Если раньше ученый считался сторонним, объективным наблюдателем, то сегодня он включен в социальное и лингвистическое конструирование повседневной жизни: «постмодернизм требует сомнений в истинности любой теории, техники и метода … каждый может выстроить мост между наукой и литературой и пройти по нему» [Richardson, 2002, p.416]. Это позволило постмодерну утверждать неизбежность многовариантного и бесконечного интерпретативного процесса и эпистемологический приоритет обыденного знания, основной формой которого является нарратив.

В-четвертых, это развитие семиотического подхода и семиотических исследований, в рамках которых текст определяется как продукт письма (создается интенцией пишущего), а произведение – как продукт чтения (создается интенцией читающего). Интерпретация читателя предполагает внесение в текст соответствующих опыту человека пресуппозиций, выявление коннотаций и установлений референций к определенной системе культурных кодов. Сегодня сложно говорить о возможности общих оснований для всех направлений семиотики, поскольку не обозначена суть семиотического подхода, не выделены критерии строгости семиотических понятий (синонимично употребляются последовательности выражение–знак–обозначающее–означающее-имя и обозначаемое–денотат–предмет–объект–вещь), не решена проблема дисциплинарных оснований семиотики (логика, языкознание, психология, культурология, «теория деятельности» и т.д.) [Розин, 2000, с.66-67]. Тем не менее, для нарративного анализа приоритетное значение имеет не семиотика знака (логическое направление, где знак рассматривается безотносительно к акту коммуникации), а семиотика языка (лингвистическое направление), где знаковость, семиотичность, является производной от коммуникативного процесса [с.68].

И, в-пятых, это лингвистический поворот,или тенденция рассматривать факты как «репрезентации» дискурсивных механизмов [Копосов, 1997, с.37]. Методологическая основа лингвистического поворота была заложена аналитической философией, отождествившей реальность и текст и сместившей фокус внимания исследователей от анализа социальных ценностей и норм к проблемам производства значения: «практически вне зависимости от того, какие именно проявления человеческой природы интересуют исследователя, рано или поздно он обнаружит, что исследует проблемы, связанные с «языком и коммуникацией» [Журавлев, 1996, с.86]. Сама человеческая жизнь начинает рассматриваться как «автолингвистический феномен», форма, которая логически «разворачивается» благодаря различению уровней (жизненных этапов) [Löfgren, 1981]. «Лингвисты первыми поняли, откуда следует начать, если мы хотим предпринять объективное исследование человека, перестали ставить телегу впереди лошади и первыми признали, что, прежде чем создавать историю объекта … следует очертить его границы, определить и описать его» [Квадратура смысла…, 2002, с.155]. В итоге «текстово-лингвистическая парадигма» переместила центр тяжести исследований от массовых к индивидуальным образованиям, благодаря чему «человечество близко к тому, дабы впервые реально представить себя во всем своем физическом, гендерном, возрастном, культурном, этническом и социальном многообразии» [Кузнецов, 2000, с.58-60].

Таким образом, проблема взаимоотношений между нарративом и жизнью, или выявление специфически нарративных способов осмысления мира, особого модуса бытия человека, в последнее время стала предметом повышенного междисциплинарного интереса. История, например, изучает наше представление об историческом времени как зависимое от тех нарративных структур, которые мы налагаем на опыт. Для обоснования теории личности/идентичности психология обращается к концепции текстуальности мышления, утверждая самоорганизацию сознания человека по законам художественного текста. Лингвистический поворот в философии позволил осознать то, что любая текстуальная формулировка неизбежно лингвистически относительна и семантически недетерминирована, т.е. тексты – не зеркало действительности, а медиаторы между ней и читателем, старательно продирающимся через дословный и метафорический смыслы фраз. Поэтому, прежде чем говорить о нарративном анализе в социологии, необходимо рассмотреть значимые для социологической трактовки методологические подходы к определению нарратива, оформившиеся в философии, лингвистике, психологии и исторической науке, учитывая, что базовое понимание нарратива – это всегда калька с английского языка – «устный или письменный рассказ о чем-либо»[[2]](#footnote-2).

***Философский подход к трактовке нарратива:***

***ключевые понятия***

Современная философия видит особенность отношений человека с миром в том, что субъект описывает их посредством разнообразных языковых форм, раскрывающих внутренние причины его поведения. Всё, что человек говорит о своих действиях и связанных с ними убеждениях и желаниях, укладывается в рамки его социальных и индивидуальных практик и составляет «бытие личности». Посредством нарратива мы придаем практикам форму и смысл, упорядочиваем наш опыт темпорально и логически, выделяя в нем начало, середину, конец и центральную тему. Нарративы повсеместны как механизм организации человеческого опыта, локальны – в силу исторически конкретных путей их восприятия, обладают социальной инструментальностью и прагматическим потенциалом [Трубина, 2002].

Философия трактует нарратив как способ обретения человеком идентичности – в нарративе рассказчик «объективирует собственную субъективность» [Янков, 1997, с.7]. Но нарратив не только средство самоидентификации, но и способ достижения неких социальных целей, поэтому на практике он принимает ограниченное число *элементарных функциональных форм*, различающихся ориентацией во времени и общей оценкой событий [Socor]: «нарратив стабильности» связывает события, образы или понятия так, что индивид не становится «хуже» или «лучше», а остается прежним (его самоидентификация не изменяется); «нарратив прогресса» характеризуется оценкой событий или роли рассказчика как желаемых и одобряемых, «нарратив регресса» – наоборот.

Наиболее последовательную концепцию нарратива в философии, интересную с социологической точки зрения, разрабатывают И. Брокмейер и Р. Харре [2000]. Они определяют нарратив как самую общую категорию лингвистического производства, которая «слишком часто используется так, как если бы она была лишь словом для обозначения некоторой онтологии. Однако это понятие должно использоваться скорее как выражение ряда инструкций и норм в различных практиках коммуникации, упорядочивания, придания смысла опытам, становления знания … как конденсированный ряд правил, включающих в себя то, что является согласованным и успешно действующим в рамках данной культуры» [с.36]. Нарратив не онтологическая сущность, а обозначение набора инструкций, позволяющих интегрировать любой индивидуальный случай в некий обобщенный и культурно установленный канон: «нарративы действуют как чрезвычайно изменчивые формы посредничества между личностными и обобщенными канонами культуры, т.е. являются одновременно моделями мира и моделями собственного «я» [с.38]. Иными словами, «быть человеком – значит рассказывать истории самому себе и окружающим, чтобы выразить свои эмоции и мнения относительно того, каким должен быть этот мир, и репрезентировать свою идентичность и общество» [Fraser, 2004, p.180]. Рассказывание историй помогает людям организовать собственный жизненный опыт в значимые эпизоды, соответствующие принятым в данной культуре модусам причинности и репрезентации. В этом смысле нарративы – интегральная часть человеческой культуры как ансамбля наших историй о самих себе.

Однако следует помнить, что индивиды далеко не всегда оперируют навязываемыми ими культурой типами и содержанием нарративов, – своими повествованиями мы можем как поддерживать, так и протестовать против доминирующих социальных практик [Franzosi, 1998; Riessman, 2003]. События нарративов не всегда выстраиваются линейно-хронологически именно потому, что по мере накопления опыта и воспоминаний возникают новые смыслы и интерпретации прошлого, которые изменяют как самооценку человека, так и степень его согласия и встроенности в существующий социальный порядок [Робертс, 2004, с.12].

Для социологической трактовки нарратива важна рассматриваемая в философии проблема *смысла* и *контекста*. Во-первых, словам, предложениям и текстам присущ смысл, который проявляется во взаимоотношении слова/предложения/текста с контекстом их появления. Во-вторых, смысл события, описываемого и обозначаемого словом, предложением, текстом, существует до, вне и независимо от них. Поиски ответов на вопросы, обладает ли слово, предложение, текст смыслом лишь в определенном контексте, чем отличается их смысл от смысла описываемого ими события, что происходит с их смыслом при переходе к другому контексту и каков смысл самого контекста осложняются наличием следующих «преград» [Аронов, 1999, с.134‑136]: 1) многозначностью понятия «смысл» и неправомерным отождествлением смысла слова/предложения/текста и смысла события; 2) способностью текста по-разному выступать в различных контекстах (текст может иметь математический, физический, философский смыслы, но они не порождаются математиком, физиком, философом, а обнаруживаются за привычными языковыми смыслами в различных контекстах); 3) рассуждениями о неких особых «смыслопорождениях» – казалось, что «постмодернизм показал возможность деконструкции смыслового ряда привычных, классических текстов … что привело к порождению новых культурных смыслов» [Бак, Кузнецова, Филатов, 1998, с.144], но в действительности подобная деконструкция ведет не к порождению новых, а к обнаружению тех культурных смыслов, которые содержались в классических текстах до, вне и независимо от деконструкции смыслового ряда («новизна» здесь обусловлена незнанием); 4) мнением, что слово, предложение, текст могут терять смысл, будучи, например, заимствованы новой теорией из старой, – но их смысл сохраняется, просто он неадекватен за пределами области своей применимости; 5) мнением, что слово приобретает значение лишь в определенном контексте – но слово обнаруживает только соответствующее значение, отличающиеся от тех, которые оно демонстрировало вне этого контекста.

В целом тема нарратива синтезировала два открытия современной философии: тему *времени* и тему *языка* [Сыров, 1999]. Открытие темпоральности состоит не в фиксации конечности человеческого существования или необратимой последовательности времени, а в продуктивном рассмотрении времени как структуры или условия конституирования любых форм человеческой жизни (текстов, институтов, действий и т.д.). Темпоральность подразумевает интеграцию прошлого, настоящего и будущего в рамках нарратива, что дает индивиду ощущение протяженности жизни во времени, необходимое для самоидентификации [Rossiter, 1999, p.62]. Текстовое время имеет три темпоральные основы [Шевченко, 2003, с.38]: объективную (календарную), концептуальную (событийную) и перцептивную (эмоционально-экспрессивную). Временн*о*е измерение препятствует «вещному закрепощению социального измерения» [Луман, 2004, с.53]: в каждый следующий момент времени другие люди могут наблюдать предметное поле совершенно иначе (его смысл получает временн*у*ю мобильность). Интерес к языку проявился в анализе любого типа объектов как знаковых систем: слово стало пониматься не только как знак оторванности от действительности (всё – лишь слова) или ее часть (произнесение слов – часть нашего существования), а как способ выражения и производства действительности. Являясь темпорально организованным повествованием, нарратив объединяет в себе оба этих аспекта.

***Лингвистическая парадигма текстового анализа***

В начале ХХ века под влиянием работ Ф. де Соссюра, противопоставившего совокупность неписаных правил языка их актуальному использованию в речи, в лингвистике произошла *структуралистская революция* (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко и др.): «в лингвистике, как и в политической экономии, мы сталкиваемся с понятием значимости, … системой эквивалентностей между вещами различной природы: в политической экономии – между трудом и заработной платой, в лингвистике – между означаемым и означающим» [Соссюр, 1977, с.112-113]. Лингвистика XIX века занималась, преимущественно, изучением происхождения слов, прослеживая историю их изменений во времени (главную роль играли филология и этимология). На первом этапе становления лингвистических исследований внимание ученых было сосредоточено на грамматических аспектах языка вне его повседневного использования; на втором этапе, завершившемся к 1900 году, акценты были смещены от грамматики к филологии – к проблемам использования слов в текстах в различные исторические периоды. Таким образом, до Соссюра лингвистика изучала конкретное слово, автора или текст, но не язык в целом. Соссюр сконцентрировал внимание на изучении языка как системы структурных отношений, показав, что смысл слова не является следствием исторической трансмиссии, а формируется синхронно[[3]](#footnote-3) через отношения с другими словами, использовав для этого метафору шахмат: исторические изменения материала, из которых изготовлены шахматы, не влияют на «значение» фигур – оно определяется ролью каждой фигуры в игре в целом и по отношению к другим фигурам [Кюглер, 2005, с.52].

Согласно Соссюру, язык универсален (это коллективное социальное явление, которое позволяет нам говорить), речь индивидуальна (в разговоре мы обладаем определенной степенью личной свободы). Но, хотя каждый индивид говорит по-своему, в научном анализе языка нас интересуют «не индивидуальные различия, а социальный факт, подчиненный общим правилам, совершенно не зависимым от индивидуальности говорящего» [Кассирер, 1998, с.584]. Новый подход превратил лингвистику из исторической и описательной науки в теоретическую и высоко формализованную: «структурный метод исследования означает, что в исследуемом объекте смысл зависит от расположения частей» [Декомб, 2000, с.84]. Иными словами, «литературное суждение всегда определяется тем целым, которому оно принадлежит, так что даже само отсутствие системы – особенно когда оно возводится в ранг кредо – бывает связано со вполне определенной системой» [Барт, 2000, с.187].

К. Леви-Строс применил принципы лингвистики к анализу социальных отношений, сделав «лингвистическую аналогию» важнейшим инструментом антропологического изучения социального поведения. Даже «простые» общества имеют относительно сложные языковые системы, поскольку язык структурирован и является структурообразующим элементом культуры – человеческий разум упорядочивает опыт в виде бинарных оппозиций (верх/низ, мужское/женское, священное/профанное, внутреннее/внешнее, чистое/нечистое, свое/чужое, природное/культурное), придавая миру когнитивный порядок [Козлова, 1999a, с.7-8]. В 1950-х годах Леви-Строс впервые провел структурный анализ нарратива: рассматривая мифы как вариации нескольких основных тем, которые можно редуцировать до определенной универсальной структуры, главным в мифе он считал не его нарративное содержание, а универсальные ментальные операции по классификации и организации реальности. Соответственно, структуралистскому образу «читателя» в идеале должны быть присущи такие характеристики, как бесстатусность, бесполость, непринадлежность к классу, свобода от этничности и культурных установок, – он просто «функция» текста: «конкретное произведение интересует структурализм не с точки зрения его возможных смысловых интерпретаций, но лишь как индивидуальное воплощение универсальных повествовательных законов» [Барт, 2001, с.16].

В рамках структурализма возникло отдельное направление – *нарратология*, или теория повествования, которая оформилась в результате пересмотра структуралистской доктрины с позиций коммуникативных представлений о природе и модусе существования искусства [Ильин, 1996, с.74-75]. Нарратология предложила метод редукции любого текста к совокупности его структурных единиц, в качестве которых могут выступать «сферы действия», функции, определенное соотношение элементов (субъект–объект, отправитель–получатель, помощник–оппонент) или понятия «грамматического анализа» – каждая история может быть прочитана как вид распространенного предложения, по-разному комбинирующего характеры (существительные, их атрибуты/прилагательные и их действия/глаголы) [Воробьева, 1999, с.92].

На основе различения фабулы и сюжета – естественного хронологическо-логического порядка событий и той последовательности, в какой они представлены читателю в тексте, – нарратология развела понятия *наррации* как «акта рассказывания самого по себе», *нарратива* как «трехуровневой иерархии истории, текста и наррации» [Franzosi, 1998, p.520] и *нарративности*, повествовательности, как движения сюжета во времени от завязки до финала [Янков, 1997, с.14]. Хотя в определениях и структурировании нарратива между авторами существуют некоторые разногласия, разработанные лингвистами параметры анализа нарратива можно суммировать следующим образом: нарратив = история/фабула (основание нарратива, позволяющее отличать нарративные тексты от ненарративных) + сюжет (текст/дискурс + наррация).

Если в узком смысле нарратология – это литературная теория структуралистского толка, то в широком – теория нарратива, осмысливающая тенденции и результаты нарративного поворота и изучающая природу, формы, функционирование, правила создания и развития нарративов [Трубина, 2002; прилож.1]. Нарратология сформулировала *неотъемлемые*, но неочевидные *характеристики* *повествования*: 1) нарративы – основной способ придания смысла человеческим действиям через организацию кажущихся несвязанными и независимыми элементов существования в единое целое; 2) нарративы чувствительны к временн*о*му модусу человеческой жизни – они упорядочивают события, действия и переживания в единый связный временной образ, или сюжет. Нарратология рассматривает реальность как имеющую нарративный характер, поэтому, во-первых, можно применять концепты нарратологии к новым объектам; во-вторых, переописывать эти концепты в связи с распространением на новое поле исследования; в-третьих, понимать настоящее как структуру, в которой можно выделить начало-середину-конец или происхождение-осуществление-цель; в-четвертых, превращать выявленные элементы в технологии конструирования социальности [Сыров, 1999].

В ХХ веке активное изучение нарратива привело к формированию множества нарратологических теорий [Трубина, 2002]: теории русских формалистов (В. Пропп, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский), диалогической теории нарратива (М. Бахтин), теории «новой критики» (Р.П. Блэкмер), неоаристотелианских теорий (Р.С. Грейн, У. Бут), психоаналитических теорий (З. Фрейд, К. Берк, Ж. Лакан, Н. Эбрэхем), герменевтических и феноменологических теорий (Р. Ингарден, П. Рикер, Ж. Пуле), структуралистских семиотических теорий (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас, Ж. Женетт, Х. Уайт), теорий читательского восприятия (В. Айзер, Х.Р. Яусс), постструктуралистских и деконструктивистских теорий (Ж. Деррида, П. де Ман). Различные теории нарратива объединяет стремление определить фундаментальные, смыслообразующие принципы повествования. Один из ведущих теоретиков нарратива, лидирующий по количеству ссылок на его работы, Ж. Женетт, формулирует эти принципы на основе категорий грамматики глагола: «наклонение» показывает модальность нарративной репрезентации; «голос» описывает рассказчика и его аудиторию; «время» обозначает отношения между рассказом и реальными событиями и имеет двойную природу – это время нарратива и время событий, которые в нем описываются.

Структуралистские *семиотические теории* рассматривают «каждый внеязыковой код как функционирующий только через посредство естественного языка» [Барт, 2000, с.7]. В теоретической лингвистике понятия коннотации и метаязыка рассматриваются как взаимодополнительные: язык состоит из выражения и содержания; метаязык и коннотация – вторичные знаковые системы. Для первой язык – план содержания (на научном, лингвистическом метаязыке говорят о языке-объекте), для второй – план выражения (коннотация создает новые смыслы, присоединяя их к первичным). Р. Барт же смешивает понятия коннотации и метаязыка, считая «миф» коннотативной, но «метаязыковой» системой (первичный, языковой знак служит «формой», средством выражения нового, «мифического» смысла) [с.18-19]. Совпадение коннотативных и метаязыковых функций, по Барту, объясняется доминированием вербальных знаковых систем над любыми невербальными кодами (например, над вестиментарным – кодом одежды). Кроме того, коннотация и метаязык по сути – неистинный, отчужденный, но исторически неизбежный язык, «говорящий по поводу вещей». Заслуга метаязыка состоит в том, что в нем вещи «социализируются», обретая общественную значимость: «мифом может быть всё … наш мир бесконечно суггестивен – любой предмет может из замкнуто-немого существования перейти в состояние слова, открыться для усвоения обществом» [с.233]. Задача исследователя – срывать с вещи ложные обличья, «прорывать тошнотворную непрерывность языка», чтобы добыть истину [с.199].

Основную задачу семиотических исследований Ц. Тодоров [1983] видит в анализе риторических речевых фигур (*тропов*), которые позволяют вводить переносные значения: метафора основана на принципе сходства (отношении перекрещивания/интерсекции); метонимия – на принципе смежности и отношении исключения/эксклюзии, в котором оба взаимоисключающих понятия включены в некоторое более широкое целое (содержащее и содержимое, причина и следствие, производитель действия и само действие, явление и его временное или пространственное положение и т.п.); синекдоха – на отношении части и целого или рода и вида, отношении включения/инклюзии, принимающем различные формы в зависимости от того, разлагается ли целое на части или же на признаки (обобщающая и специфицирующая синекдохи). Разница между тропами и утвердительными суждениями заключена не в природе отношений субъекта и предиката, а в том, что в утвердительном суждении наличествуют оба («Все люди смертны»), а в тропе – только один (употребление слова «смертные» вместо слова «люди» – обобщающая синекдоха).

В целом структурализм демистифицировал литературу, сведя литературное произведение к конструкту, чьи механизмы поддаются классификации и анализу, и сформулировал идею о сконструированности значения – это не адекватное отражение реальности, а функция языка, который продуцирует реальность в нашем сознании [Воробьева, 1999, с.92]. Если структурализм рассматривает язык объективно, как сложную систему знаков, то *антиструктурализм* анализирует дискурс как явление, включающее в себя как говорящего/пишущего, так и потенциальных слушателей/читателей. Ориентируясь на другого, индивиды используют конкретные выражения в определенном социальном контексте так, что значение знаков модифицируется непостоянными социальными тонами и ценностями.

К антиструктуралистскому направлению относят *теорию речевых актов*, рассматривающую в качестве единиц человеческой коммуникации не отдельные слова или предложения, а многоплановые по структуре речевые действия, направленные на достижение определенных эффектов [Воробьева, 1999, с.93; Зарубежная лингвистика II, 1999, с.211]. В своих ранних работах основоположник теории речевых актов Д. Остин сформулировал концепцию «перформативных» и «констативных» высказываний: первые являются исполнением некоторого действия, вторые – описаниями, способными быть истинными или ложными [Зарубежная лингвистика II, 1999, с.212; Серль, 1999, с.99].

Пытаясь разграничить, с одной стороны, значения элементов языка и их использование в речевых актах, а, с другой – речь как действие (перформатив) и другие действия как последствия речи, Д. Остин и Д. Серль преобразовали концепцию «перформативных» и «констативных» высказываний в теорию «речевых актов» и выделили три типа таковых [Серль, 1999]: 1) *локутивные акты* – сами акты говорения, в которых предложение имеет определенный смысл и отнесение («значение»); структура локутивного акта включает в себя произнесение звуков (акт фонации), употребление слов, соединение их по правилам грамматики, обозначение с их помощью тех или иных объектов (акт референции), приписывание этим объектам тех или иных свойств и отношений (акт предикации); 2) *иллокутивные акты* – совершение действия в высказывании, которое имеет определенную «силу», внеязыковую цель (информирование, приказ, оценка, совет, извинение, аргументация и т.д.); 3) *перлокутивные акты* – совершение действия посредством высказывания (уверить, заставить, удивить и т.д.), причем реальные последствия речевого акта могут не соответствовать той внеречевой цели, для достижения которой он был осуществлен. В целом правила речевого поведения позволяют оформить интенции говорящего таким образом, что они будут опознаны и поняты воспринимающей стороной. Эти правила относятся к сфере социального контекста, они не регулятивны, а конститутивны, и отклонения от них могут носить как сознательный, так и ненамеренный характер. В теории речевых актов нарратив рассматривается как «прототип или единственный пример идеально оформленного речевого акта с началом, серединой и окончанием» [Калмыкова, Мергенталер, 2002; Labov, 1997].

В основе *постструктурализма* (или неоструктурализма) лежит сомнение в существовании «привилегированного дискурса», т.е. в возможности универсального метода или теории, гарантирующих абсолютное знание [Richardson, 2002, p.415]: любые «истины» подозреваются в служении определенным локальным, культурным или политическим интересам, а претензии на истину приравниваются к претензиям на власть. Концептуальную основу постструктурализма составили два тезиса позднего Р. Барта [Анкерсмит, 2003, с.21-22]: 1) текст – средство выражения этических, идеологических и иных взглядов автора на реальность, о которых ни автор, ни читатель не подозревают (экспликация постмодернистской трактовки текста как единственного адекватного средства, доступного человеку для самореализации в современной культуре); 2) реальность прошлого обусловлена эффектом реальности прошлого, который создается, казалось бы, иррелевантными деталями текста (это подтверждается всей историей риторики и литературы).

Постструктурализм поднимает вопрос о том, как, кем и зачем создаются тексты, и допускает множественность альтернативных репрезентаций в науке, литературе, письме и речи. В качестве ключевых элементов текста постструктурализм рассматривает наррацию, рефлексивность и контекстуализацию, поэтому необходима пространственная и временная локализация автора, которая помогает расширить дисциплинарные границы текстового анализа – в рамках постструктуралистского направления он считается продуктивным только в том случае, если учитывает имеющиеся в распоряжении представителей различных культур «экстра-текстовые» системы создания значений.

Поскольку в основе постструктурализма лежит убеждение, что невозможно соотнести предметный мир с миром произносимых/написанных слов, что существует лишь множество интерпретаций, каждая из которых равно возможна, воздействие постструктурализма на сферу биографических исследований в рамках социологии и исторической науки выразилось в осознании того, что нарративность – важный фактор автобиографии (между автором, его «я» и «реальностью» существуют достаточно напряженные отношения), в формулировке проблемы идентичности «я» рассказчика (непрерывность идентификационного процесса, множественность идентичностей), в признании многоуровневости аудиторий/авторов и первичности текста (исследователь всегда имеет дело только с текстом, а не с реальной жизнью) [Руус, 1997, с.7-8].

Отдельным направлением лингвистики является *социальная лингвистика*, предмет которой составляют все виды взаимоотношений между языком и обществом (социальные функции языка и воздействие социальных факторов на язык), подразумевающие ситуации выбора говорящими того или иного варианта языка [Мечковская, 2000, с.5]. В социолингвистике принято выделять три течения [Швейцер, 1990]: первое ориентировано на этнометодологию и этнографию и предполагает исследование способов, с помощью которых члены общества производят социальную действительность и репрезентируют ее в упорядоченном и регулярном виде друг другу; второе связано с собственно лингвистикой и нацелено на установление социально детерминированных языковых правил; третье опирается на социологию и занимается изучением норм языкового употребления. Общей для всех направлений исследований является проблема социальной дифференциации – совокупности стратификационных и ситуативных компонентов подбора социально корректного высказывания в конкретных обстоятельствах. Соответственно, в структуре социолингвистики можно выделить два условных уровня [Chambers, 1995]: в фокусе интереса «макро-социолингвистики» находятся акценты и диалекты, «язык в обществе», языковая политика и т.д.; «микро-социолингвистика» сосредоточена на описании языковых корреляций и вариаций в зависимости от таких социологических категорий, как класс, гендер, возраст, статус, мобильность, властные различия и т.д., т.е. как глубоко укорененных в экстралингвистических фактах, знании мира и соображениях здравого смысла.

Общие принципы лингвистического анализа текста предполагают его рассмотрение как продукта языка, интерпретации и практики, т.е. подразумевают изначальное сплетение реальности с проблемами ее языкового освоения: «реальный мир» в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного общества» [Воробьева, 1999, с.95], язык является не «логическим исчислением, а социальной практикой» [Анкерсмит, 2003, с.68]. Нарратив в этом контексте предстает как особая эпистемологическая форма – окружающая реальность может быть освоена человеком только через повествование, через истории. В лингвистических исследованиях классическим считается определение, предложенное в конце 1950-х – начале 1960-х годов В. Лабовым: «нарратив − один из способов репрезентации прошлого опыта при помощи последовательности упорядоченных предложений, которые передают временн*у*ю последовательность событий; нарративы функционируют как эквиваленты единичных речевых актов, таких, как ответ, высказывание просьбы, претензии и т.п.» [Калмыкова, Мергенталер, 2002]. *Необходимыми лингвистическими признаками нарратива* являются: 1) наличие придаточных предложений, соответствующих временн*о*й организации событий; 2) отнесенность повествования к прошедшему времени; 3) наличие определенных структурных компонентов – ориентировки (описания места, времени действия, персонажей), осложнения/конфликта, оценки (выражения авторского отношения к происходящему), разрешения конфликта и коды (завершения повествования и его отнесения к «здесь-и-теперь» [Labov, 1997]) .

***Нарратив как теоретический подход***

***и объект анализа в психологии***

Сложившиеся в рамках психологии подходы к нарративной проблематике достаточно сложно систематизировать, поэтому ниже будут рассмотрены только два ключевых из них – нарративная психология, или «теория» нарратива, и психоаналитическая терапия, или «практика» нарратива. Современная постмодернистская парадигма в психологии утверждает, что любой образ «Я», сама возможность осмыслить себя и свою судьбу неразрывно связаны с текстуально-диалогическими интерпретациями мира: личность понимается не как нечто стабильное, а как исторически меняющаяся в ходе коммуникации и самопрезентации идентичность, самосознание – как прописывание себя в смысловых координатах эпохи, «Я»-нарратив, непрерывное «осюжетивание» своего жизненного опыта [Семейные узы…, 2004, с.62]. *Нарративная психология* (Т. Сарбин, Г. Олпорт, Дж. Бруннер, К. Герген, А. Керби, Ч. Тейлор), оформившаяся в 1960–1970-е годы, утверждает, что смысл человеческого поведения выражается с большей полнотой в повествовании, а не в логических формулах и законах [Романова, 2001], поскольку понимание человеком текста и самого себя аналогичны: «люди думают, воспринимают, воображают и делают моральный выбор в соответствии с нарративными структурами» [Sarbin, 1986, p.8]. Человек как «истолковывающее себя животное» достигает самопонимания через нарратив, или непрерывную самоинтерпретацию, посредством которой выделяет в жизненном потоке определенные моменты, обладающие для него смыслом и оценочным значением.

В рамках нарративной психологии выделяют два подхода: *«социально-конструктивистский»* подход (К. Герген, Т. Сарбин) занимает радикальную позицию в вопросе о том, что такое личность и как происходит самопонимание (понятия «личность», «я» не нужны; личность – это «текст», ее понимание подобно пониманию текста); *«персонологический»* подход (Д.П. МакАдамс) − отождествляет самопонимание и самоидентификацию (понимание себя равнозначно осознанию своей социальной принадлежности). Оба подхода включают теорию идентичности в более широкие теории реальности, т.е. для диагностики психологического статуса индивида необходимо учитывать, на какую собственно реальность он ориентируется [Бергер, Лукман, 1995, с.282], в каком социально-культурном контексте существует: «любой нарратив личной жизни – это выражение, или воплощение, множества накладывающихся друг на друга семейных, религиозных, социально-экономических и культурных контекстов и систем значений, в рамках которых он был сформирован … в этом смысле история жизни по определению – конструкция из психологических и социокультурных элементов» [Rossiter, 1999, p.65].

«Социально-конструктивистский» подходполучил развитие в Европе и США в 1980–1990-е годы как перспектива изучения приемов «Я-выстраивания» в различных дискурсивных ситуациях, рассматривающая самопонимание как интерпретативный, а не отражательный процесс, а рефлексию – как самоконструирование, т.е. сознание человека – своего рода личностное самополагание, организованное по законам художественного текста. Доминантные нарративы культуры определяют значение, формы и «письменность» нарративов, доступных и принимаемых индивидами: «каждая культура предлагает океан приемлемых нарративов, набор историй и сюжетов, посредством которых человеческие действия и намерения могут быть интерпретированы, объяснены и поняты» [Rossiter, 1999, p.66]. Каждый человек просто выбирает и/или адаптирует доступные нарративные формы для конструирования своих повествований в соответствии с собственным пониманием социокультурной реальности. Иными словами, можно выделить два модуса сознания [Романова, 2001; Richardson, 1990]: *нарративный модус самоосмысления* отражает жизненный контекст и уникальный индивидуальный опыт; *парадигматический*, или логико-научный*, модус* является общечеловеческим – это форма нарратива, выработанная в ходе культурного развития человечества и приспособленная к межличностному общению. Соответственно, психологи выделяют следующие нарративные структуры человеческой личности: «комедию» (отменяет общественные нормы и условности, подавляющие желания), «романс» (идеализирует прошлое и традиции), «трагедию» (показывает поражение героя и его изгнание из социума), «иронию» (подвергает сомнению предыдущие варианты нарративных структур, когда они не справляются с задачей выстраивания жизненных смыслов).

Главным методом исследования в *психоаналитической терапии* является «кейс-стади» или *«кейс-нарратив»* − изучение эвристически и коммуникативно значимых индивидуальных случаев или биографий для конструирования типических моделей психических структур [Рустин, 2002, с.17]. Нарратив здесь рассматривается как средство организации личного опыта, отражающее эмоциональное состояние рассказчика и стимулирующее ответную реакцию слушателя. Анализ нарративов основан на идеях интертекстуальности (всё, что автор узнал до создания своего текста, невольно и неосознанно прорывается в его «творении»), множественной интерпретации и неотделимости текста от контекста, диктующего его оценку [Жорняк, 2001; Калмыкова, Мергенталер, 2002], и проводится при помощи контент-аналитических приемов. По сути, психоанализ оказывается «набором стратегий интерпретации» [Анкерсмит, 2002, с.333], основанных на убеждении, что в повествовании пациента всё то, что вытеснено, проявляется только в незначимых и иррелевантных деталях – тайна индивидуальности кроется в том, что крайне редко и мимолетно становится видимым на фоне ее обычных проявлений («личность следует искать там, где личное усилие наименее интенсивно»).

Психоаналитическая терапия определяет историю жизни пациента, рассказанную в ходе психотерапевтического сеанса, как нарратив, поскольку использование этого понятия оказывается продуктивным при столкновении с проблемой достоверности рассказа пациента, когда необходимо отделить субъективную версию событий от «объективной правды», если она вообще существует. Хотя такой подход требует однозначного определения нарратива, которое позволило бы отличать его от «не-нарратива», существуют значительные расхождения в его понимании: рассказ пациента о событиях жизни; пересказ сновидения или фантазии; тематически единая сюжетная линия, охватывающая весь жизненный мир человека; один из модусов психотерапевтического дискурса и т.д. Психоаналитическая терапия вводит два определения нарратива: широкое – как процесса порождения историй, как повествования вообще; и узкое – как конкретной, четко очерченной формы повествования, характеризующейся, в отличие от других повествовательных форм («отчета», «описания»), наличием конфликта и его разрешением и, соответственно, изменением состояния актанта и/или ситуации в конце повествования по сравнению с его началом. Повествование пациента считается нарративным, если соответствует следующим семантическим критериям: 1) репрезентирует временн*у*ю последовательность событий, которые изменяют состояние человека и/или его окружения; 2) отчетливо и конкретно указывает на место и время действия и действующих лиц. Маркерами нарратива являются «резюме» жизненного опыта (предшествует изложению нарратива), «кода» (отсылка к настоящему времени) и прямая речь действующих лиц [Калмыкова, Мергенталер, 2002].

В психоаналитической терапии доминируют два подхода к рассмотрению нарратива [Gerhardt, Stinson, 1994]: *прагматическая трактовка* предполагает решающую роль контекста в порождении значения (рассказывание истории на психотерапевтическом сеансе детерминировано отношениями «психотерапевт–пациент»); *аффективно-оценочный подход* связывает уникальность каждого повествования с тем, что автор неизбежно предлагает слушателю принять и разделить его точку зрения. В принципе, чем сложнее структура нарратива, тем более вероятен отказ рассказчика от простой хронологически упорядоченной истории в пользу нарратива с доминированием аффективно-оценочного компонента, что требует от нарратора достаточной *нарративной компетентности.* Последняя развивается с возрастом: простые, хронологически упорядоченные истории дети начинают рассказывать с четырех лет – «слова приходят к нам, полные значения, ангелами, которые учат уши слышать, руки писать, а сердце реагировать» [Кюглер, 2005, с.125]. С четырех до девяти лет (1) соотношение оценочного и повествовательного компонентов изменяется в пользу первого за счет второго (увеличивается количество оценочных высказываний); (2) истории удлиняются, сюжеты усложняются (последовательность событий в сюжете отличается от аналогичной в фабуле); (3) становятся привычными отсутствующие в рассказах маленьких детей прямая речь и свободная косвенная речь; (4) истории все более согласованы, а каузальная аргументация – более очевидна [Franzosi, 1998, p.533; Rossiter, 1999, p.61]. Поскольку индивидуальные и культурные нарративы взаимосвязаны, «наша способность интерпретировать мир возрастает по мере того, как мы овладеваем и начинаем использовать все новые виды нарративов» [Vincent, 2000, p.325]. Одновременно обретение языка отделяет человека от материального мира, позволяя ему создавать систему слов, способных замещать реальные объекты, трансформировать их в воображении.

Нарративы личного опыта используются в психоаналитической терапии, чтобы изменить жизнь пациента путем ее пересказывания, иной интерпретации и конструирования более удовлетворительного опыта: «рассказывание историй лечит, если ты можешь рассказать хорошую историю, ты можешь быть исцелен»[[4]](#footnote-4). Кроме того, воплотив свои чувства в слова, человек как бы создает дополнительную степень свободы для личного выбора, поскольку построенная таким образом дистанция по отношению к реальности (отраженной в языке) допускает вариативное и неоднозначное отношение [Улыбина, 2001, с.63]. Соответственно, базовой техникой нарративной терапии является *экстернализация*[Жорняк, 2001] – лингвистическая практика, помогающая людям отделить себя от проблемно насыщенных историй, которые они воспринимают как собственную идентичность: посмотрев на свои проблемы со стороны, человек может взять на себя ответственность за их разрешение.

Структура идентичности развивается за счет ассимиляции и аккомодации новых элементов или переоценки существующих – человек должен уметь отстраниться от имеющегося образа себя, переоценить его в связи с несоответствием изменившемуся контексту жизни и преодолеть кризис идентичности через ее трансформацию [Антонова, 1997, с.25]. Экстернализация исключает эффект «наклеивания ярлыков» и способствует тому, чтобы человек направил свои усилия на борьбу с проблемами, а не с людьми. Для этого нарративная психотерапия акцентирует противоречивость субъективного опыта: нет экспертов, нет объективных истин, нет конечной интерпретации/интерпретатора, на которых можно было бы сослаться, чтобы подтвердить легитимность и истинность какого-либо повествования, включая саму нарративную психотерапию. Главным становится символический смысл субъективного опыта: «всякий раз как нечто видимое кажется немотивированным, здравый смысл бросает в бой тяжелую кавалерию символа … поскольку он объединяет зримое с незримым под знаком количественного равенства (одно значит другое) … коль скоро это нечто значит, оно становится уже не так опасно» [Барт, 2000, с.130‑131].

Сознательное изменение категориальной структуры сознания признается возможным в ситуациях психотерапевтического, коррекционного воздействия, тренинговых групп, и объясняется тем, что личностные установки имеют несколько функционально дифференцированных уровней [Джерелиевская, 2000, с.34-44]: осознаваемые и неосознаваемые смысловые установки выражают готовность к целенаправленной деятельности и выступают в роли фильтра по отношению к установкам нижележащего уровня – целевым и операциональным (определяют «общие принципы и нравственную оценку субъективных целей и средств их реализации»). Психотерапевтическое коррекционное воздействие применяется в тех случаях, когда смысловые установки становятся дестабилизатором жизни человека, а именно: когда возникает конфликт операциональной и целевой установок со смысловой в быстро меняющейся ситуации (несоответствие целей, мотивов и средств) или конфликт между различными смысловыми установками субъекта (достижение сразу нескольких жизненных целей затруднительно, а сосредоточение на одной из них приводит к неудовлетворению других); когда изменение деятельности приводит к «передвижению» изначально целевого или операционального уровня установки на уровень смысловой и возникает конфликт с первоначальной смысловой установкой, изменение которой происходит значительно медленнее.

Таким образом, в рамках психологии нарратив может выступать и как теоретический подход (в нарративной психологии), и как эмпирический объект анализа (в психоаналитической или нарративной терапии) – в последнем качестве он представляет интерес для социологии. Э. Гидденс рассматривает психоанализ как «жанр биографической правды, как теоретический и терапевтический ресурс создания рефлексивно организованного нарратива о себе как защитного механизма … поскольку автобиографическое мышление – конститутивный элемент самоидентичности в современной социальной жизни» [Groarke, 2002, p.572-573]. Нарратив, или жизненная история, придает непрерывность, очертания, границы и объем изменчивой и подвижной человеческой личности и строится на таких повествовательных принципах, как интрига (синтез событий, «Я»-образов, мотивов, отношений, переживаний), сюжет (временн*о*е упорядочивание опыта), идентичность персонажа [Семейные узы…, с.63]. В рамках психологии, в отличие от социологии, используется не предложенное Н. Денцином интерпретативное понимание биографии как индивидуального рассказа, представляющего более широкие социальные группировки, а сформулированная М. и К. Гергенами теория социального конструирования, обращающаяся к нарративам для анализа психологического развития отдельных индивидов [Робертс, 2004, с.8].

***Нарративность и объективность в историческом знании***

В.О. Ключевский однажды сказал, что прошлое надо изучать не потому, что оно уходит, а потому что, уходя, оно не ликвидирует своих последствий[[5]](#footnote-5): одна из задач исторического исследования состоит в том, чтобы «выйти за свои методологические ограничения и, посредством нарративов, использовать прошлое для изучения настоящего» [Heise]. «Лингвистический поворот» в истории дополнил необходимость изучать прошлое требованием рассматривать историческую реальность как всегда предстающую перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации. Одни историки восприняли «лингвистический поворот» как оправдание неизбежности многоголосия мнений, другие – как подтверждение интерпретативной стороны истории, третьи – как санкцию на инструментальный подход к знанию.

Изменение методологических подходов в истории породило дискуссию между традиционными историками и специалистами по риторике истории: первые стремятся скрыть разрыв между историческим письмом и его предметом, а вторые утверждают, что эффект реальности создает используемый историками набор риторических конвенций: «либо мы рассматриваем реальность как абсолютно проницаемую для истории – т.е. идеологизируем ее; либо, наоборот, рассматриваем реальность как непроницаемую, нередуцируемую – т.е. поэтизируем ее (понимая поэзию как поиски неотчуждаемого смысла вещей)» [Барт, 2000, с.286].

Стремясь свести множественность фактов прошлого к некоему единству, современная история опирается на нарратив как главный способ описания событий через формирование контекста, их связующего: «концепт нарратива не просто сохраняет ценность многообразия – это форма, в которой находит свое воплощение специфичность и научность исторического исследования, в которой историк конституирует и осуществляет процедуру схватывания в единое целое некоторой серии эпизодов» [Сыров]. Любое историческое повествование предлагает нам взглянуть на прошлое с определенной точки зрения, упорядочивающей наше знание о соответствующем фрагменте действительности, поэтому историческое повествование метафорично [Анкерсмит, 2003а, с.10].

Доминирующий в современной истории важнейший для нарратологии вопрос «*как* это происходит» [Зверева, 1996] делает бессмысленным выяснение «истинности» исторического нарратива, поскольку он представляет собой совокупность моделей прошлого и метафорических заявлений об отношениях сходства между этими моделями и типами историй, которыми люди конвенционально связывают события своей жизни со значениями и структурами культуры: «из миллиарда фактов, имеющихся в наличии для конструирования исторического нарратива, не все одинаково релевантны … чтобы событие стало историческим, оно должно допускать как минимум два исторических нарратива, объясняющих его появление … не существует чистого описания – в структуре нарратива всегда имплицитно содержится модель объяснения, латентная теория» [Croissant, 2003, p.467]. Хотя историки всегда открыто или завуалированно (например, цитируя определенных общественных деятелей) высказывали свои оценки прошлого, сегодня они становятся все менее откровенны в выражении своей общественной позиции, поскольку недвусмысленно заявленная предвзятость противоречит критериям научности [Томпсон, 2003, с.18].

Автор любого исторического текста выражает в своем повествовании не реальное время, а условную темпоральность, органично включенную в культурный контекст и проходящую через весь нарратив. Нарративная «игра со временем» характерна не только для вымышленных, но и для реальных исторических нарративов [Franzosi, 1998, p.530]: исторические периоды различаются по плотности времени − существуют «горячие» хронологии, когда историк вынужден следить за каждым днем и часом, и хронологии, где он может перепрыгивать через тысячелетние периоды. Выбор дат и событий (исторических «фактов») отражает намерения историка, реализует идеологическую функцию даже в такой деятельности, как составление хроник: средневековые летописцы год за годом последовательно записывали одно событие в год, хотя события могли значительно различаться по длительности от «Пиппин, правитель дворца, умер» до «Теудо изгнал сарацин из Аквитании». Кажущаяся случайной и причудливой подборка фактов: «712 г. – везде наводнение;… 722 г. – богатый урожай;… 725 г. – пришли сарацины» – была обусловлена религиозной убежденностью авторов в непостижимости Божьего промысла.

Процесс производства исторического текста неизбежно связан с производством идеологии, поскольку любая простая хронологическая последовательность нарративных предложений имеет оценочное содержание, подразумевая причинно-следственные отношения, а ведь очень важно, произошло ли событие по причине другого события или просто после него. Историки старательно отказывают себе в «голосе»: нарративный модус исторических текстов приближает повествование к опасной черте художественного вымысла, за которой историк превращается в писателя, поэтому в исторических текстах события должны «рассказывать себя сами», субъект суждения должен быть незаметен – он просто «объединяет» утверждения исторического нарратива. Решение историка об организации исследования в нарративной форме – «методологический выбор, имеющий важные эпистемологические следствия» [Hesling, 2001, p.189-190]: нарративные конструкции не могут быть фальсифицированы, поэтому исторические нарративы не способны открывать законы, но вполне могут представить определенные зависимости данных, хотя историческая интерпретация лишь «обозначает структуру прошлого, но не обнаруживает ее так, как если бы эта структура действительно существовала» [Анкерсмит, 2003, с.120].

Современный этап развития философии истории Ф. Анкерсмит характеризует как нарративный, поскольку *нарративная философия истории* интегрирует результаты исторического исследования в границы исторического текста, акцентируя значение используемых историками лингвистических средств [с.30]. Формирование нарративной философии в начале 1990-х годов связано с изменением концептуальных основ философской науки [Анкерсмит, 2003а, с.8-12]: раньше философия не обращалась к проблемам текста/повествования, считая, что как только логические проблемы, связанные с истинными единичными высказываниями будут решены, повествование как ряд единичных высказываний об определенном положении дел не вызовет сложных или интересных проблем. Сегодня стало очевидно, что вопрос о нарративе и его соотношении с миром нельзя свести к вопросу об истинном единичном высказывании. Во-первых, любое историческое повествование – репрезентация прошлого (отношение между ней и реальностью является метафорическим). Во-вторых, логика репрезентации отличается от логики истинного единичного высказывания – например, в повествовании о Великой французской революции невозможно указать те элементы, которые обозначают данное историческое явление, и те, которые приписывают ему свойства, в отличие от, скажем, высказывания «Ева прекрасна», где «Ева» – референция, а «прекрасна» − предикация.

В основе новой философии истории лежит различение *исторического исследования* (фактов, или «буквальной истины»), результаты которого выражены в единичных утверждениях, и *исторического/нарративного письма* (интерпретаций, или «области метафоры») как серии утверждений: поиск и описание фактов обычно производится в рамках определенной нарративной интерпретации, однако именно факты в значительной степени определяют итоговую интерпретацию прошлого [Анкерсмит, 2003а, с.23]. То есть понимание прошлого рождается только в пространстве между конкурирующими интерпретациями нарратива о прошлом. Анкерсмит формулирует следующие *ключевые положения нарративной философии истории* [2003, с.44‑130]:

* Нарративы – интерпретации прошлого: прошлое нам не дано, мы не можем сравнить его с тем или иным текстом, чтобы определить, какой из них максимально точно его репрезентирует. Единственная данная нам реальность – текст нарратива, смысл которого мы можем открывать и приумножать (герменевтический подход). «Правильной» интерпретации не существует, поскольку содержание любой интерпретации не соответствует истинному содержанию исторической реальности. Такое понимание философии истории исходит не из лингвистической, а семиологической концепции текста – следует идентифицировать не лексические и грамматические категории, а иерархию кодов, созданную с помощью тропологического языка автора под влиянием культурных обстоятельств его места и времени жизни.
* Нарративы интерпретируют прошлое, не проблематизируя его: ранее философия истории согласовывала различные интерпретации прошлого через соотнесение их с фактами; нарративная философия истории согласовывает их с аргументами нарратива (реальность прошлого трактуется одновременно как внутренне присущая тексту и как существующая вне его), т.е. акцентирует значение риторического модуса текста, не связанного требованием соблюдения истины в описании референта.
* Язык нарратива тропологичен и метафоричен, следовательно, непрозрачен и автономен в отношении прошлого, поэтому нарративные предложения обладают природой вещей, а не понятий: «слова нарратива – своего рода крюки, цепляясь за которые реальность входит в язык». Логика нарратива строго номиналистична: нарративные интерпретации могут иметь имена собственные («холодная война», «индустриальная революция» и т.д.), но не имеют экзистенциальных значений (индустриальная революция – не некая сила в истории, а только интерпретативный инструмент для понимания прошлого). Нарративные интерпретации со временем могут получить всеобщее признание и стать частью обычного языка, превратившись в понятие, модель (что особенно очевидно в социологическом знании).
* Нарративы выполняют функции описания прошлого и идентификации его нарративной интерпретации: отдельные утверждения нарратива имеют буквальное значение (хроника), но в совокупности – метафорическое, поскольку нарративный текст есть тип дискурса историка, с помощью которого устанавливаются отношения тождества между событиями прошлого и типами рассказов, наделяющих их значением. В нарративе историка метафорические заявления превращаются в аргументативные стратегии, поэтому любые исторические дискуссии, по сути, – дебаты не о действительном прошлом, а о нарративных интерпретациях прошлого: «подобно плотине, покрытой плавучими льдинами в конце зимы, прошлое покрыто толстым слоем нарративных интерпретаций; и исторические дебаты во многом есть дебаты о компонентах этого слоя – как о прошлом, скрытом под ними» [с.176]. Лучший исторический нарратив – максимально метафоричный (нарративное измерение доминирует над буквальным, повествование не распадется на истинные единичные высказывания, понимание целого выражено наиболее четко) с наибольшим полем реализации (возможно множество конкурирующих интерпретаций).

Всё сказанное выше касается нарративов доминирующего в истории типа – повествований самих историков, однако историческая наука для формирования репрезентаций прошлого обращается и к нарративам личного опыта очевидцев событий – данный метод исследования получил название *«устной истории».* Использование устных свидетельств методологически обосновано тем, что общество в его истории всегда представлено в двух состояниях [Козлова, 1999а, с.25-43]: 1) история в её объективированном виде (вещи, нормы и институты); 2) история в инкорпорированном виде, встроенная в тело и язык человека социальность, обозначенная П. Бурдье как «габитус». Основными детерминантами габитуса являются капитал (экономический, социальный, культурный), позиция в отношении производства (профессия), типы социальных связей, история группы и индивидуальная биография. Понятие габитуса позволяет увидеть социальный мир как продукт одновременно объективного (социальные институты) и субъективного (историчные и ситуативные схемы восприятия и оценивания) конструирования.

До середины ХХ века в центре внимания исторической науки находилась, в первую очередь, история объективированная (документальное воссоздание борьбы за власть) – сама структура власти работала как гигантский «записывающий механизм», лепя прошлое по собственному образу и подобию. В середине ХХ века спектр исторических исследований расширился, хотя осталась прежняя сосредоточенность на политико-административных вопросах, а простые люди вписывались в общую картину только в виде статистических данных; в последней трети ХХ века история начала использовать в качестве «сырья» жизненный опыт самых разных людей посредством метода устной истории [Томпсон, 2003, с.15-20].

Новый[[6]](#footnote-6) исследовательский подход позволяет воссоздавать первоначальное многообразие точек зрения и более реалистичную картину прошлого, которая может поставить под сомнение официальную версию событий. Использование устных свидетельств ломает барьеры между «летописцем» и читателем, когда «с высот исторической теории исследователи опускаются на землю – к неуклюже индивидуальным человеческим жизням, лежащим в их основе» [Томпсон, 2003, с.23]. Люди, у которых историки берут интервью, редко вписываются в рамки представленных в литературе социальных типов. Уникальная информация, которую историк получает из устных источников, – это субъективное видение рассказчика, т.е. речь идет не столько о самом событии, сколько о его значении. Это ни в коем случае не делает метод устной истории недостоверным, несмотря на его необъективность: даже фактически «неправильные» высказывания психологически «верны» и потому столь же важны, как подтвержденные сведения. Субъективность – такой же предмет истории, как и собственно «факты», поскольку то, во что верят информанты, – столь же «реальный» исторический факт (вера), как и события, произошедшие в действительности [Женская устная история…, 2004, с.21].

П. Томпсон предложил четыре способа конструирования истории на основе устных свидетельств: 1) использование индивидуального жизнеописания информанта, обладающего отличной памятью, для создания истории сообщества или целой социальной группы (если индивидуальные жизнеописания трактуются как типичные, необходима характеристика общего социально-исторического контекста их формирования); 2) подготовка сборника отдельных нарративных эпизодов, каждый из которых может быть недостаточно богат или полон, но в совокупности они позволяют раскрыть социальную симптоматику; 3) анализ повествования с точки зрения его текстуальных особенностей (язык, тематика, характерные повторы и паузы), а не определение степени типичности рассказчика; 4) реконструктивный перекрестный анализ – устные свидетельства становятся основой для построения моделей поведения людей или событий в прошлом (высказывания из различных интервью сравниваются и увязываются с материалами, полученными из других источников) [Томпсон, 2003, с.268‑269]. Все способы взаимно дополняют друг друга и абсолютно приемлемы в рамках социологического исследования.

Таким образом, «в истории нарратив рассматривается как такая форма существования исторического знания, которая снимает дихотомию объяснения и понимания» [Янков, 1997, с.7-8]. Новое знание о социальных феноменах формируется в истории на основе теоретической генерализации отдельных случаев или воспоминаний людей. Представляя историю как серию упорядоченных во времени событий, нарративный анализ позволяет сочетать производство теоретически структурированных интерпретаций с чувствительностью к историческим деталям и осознавать степень опосредованности образа прошлого выбираемым историком/информантом «масштабом освещения» и его личной заинтересованностью [там же, с.89; Рустин, 2002, с.21]. История выражает «все человеческое» историков/информантов, и «если их разнородные и противоречивые репрезентации имеют какое-то отношение к внешнему миру, то только потому, что сам мир, наряду с психологическими факторами, несет свою долю ответственности за противоречия в мышлении» [Копосов, 1997, с.45].

*Основными характеристиками нарративного подхода* *в истории* являются: «ретроспективность» (рассмотрение событий прошлого через призму настоящего и будущего); «перспективность» (зависимость исторической оценки событий от мировоззрения); «избирательность» (отбор релевантной информации); «специфичность» (влияние исторического знания на формирование идентичности); «коммуникативность» (воздействие культурного дискурса на историческое знание); «фиктивность» (зависимость исторических интерпретаций от социальных условий, в рамках которых они играют роль ориентира в практической жизни [Rusen], и сближение художественной и научной типизации на основе единства объекта познания [Сердюк, 1998, с.17]). Историк оказывается столь же суверенным творцом, как поэт или писатель, поскольку его нарратив подчиняется тем же правилам риторики, которые обнаруживаются в художественной литературе [Гуревич, 1996]. Отличие состоит в том, что писатель/поэт свободно играют смыслами, а построения историка основаны на некой реальной ситуации.

Сведение принципов конфигурации исторических повествований к литературным жанрам актуализирует вопрос о том, почему все-таки речь идет не о литературе, а об истории в форме литературы. Этот вопрос решается двумя способами: во-первых, посредством аналогии с психотерапией. Историк реализует своеобразную терапевтическую функцию придания прошлому такого смысла, который делает его приемлемым для культуры, т.е. нарратив не просто конституирует, а переосмысливает исходный материал, заставляя действительность представать определенным образом. Так, например, метод устной истории реализует функцию «терапии с помощью воспоминаний» [Томпсон, 2003, с.31,185]: пожилым людям акт наррации помогает сохранить собственное «я» в меняющемся мире; биографические интервью с людьми, которые отклоняются от социальной нормы или пребывают в изоляции, облегчают их понимание и принятие собственной социальной позиции.

Второе решение вопроса состоит в признании того, что нарратив как лингвистическая репрезентация прошлого коренным образом отличается от всех форм повествовательной литературы [Анкерсмит, 2003а, с.38-48]: нарратив сохраняет верность фактам, а художественная литература – нет. Задача романиста – построить связную картину, обладающую смыслом; задача историка – построить осмысленную картину так, чтобы она отражала действительные вещи и события. Автор нарратива создает историческое знание, объясняя его и аргументируя; автор романа применяет это обобщенное историческое знание к одной или нескольким конкретным (воображаемым) ситуациям. В нарративе фактические высказывания об отдельных событиях предоставляют свидетельства и примеры для интерпретации исторического периода; в историческом романе – наоборот, автор обладает «общим» историческим знанием до его «воплощения» в частное и индивидуальное. Нарратив не пишется с какой-то определенной «точки зрения», хотя некоторая интерпретация в нем предлагается; исторический роман дает нам пример того, какую картину мы получим, если взглянем на прошлое глазами живущих в нем людей (вымышленных персонажей).

Таким образом, «в психологии нарративы помогают понять идентичность, в истории позволяют наделять смыслом прошлое, в философии служат основой для формирования нового видения мира и организации сообществ» [Fraser, 2004; Maines, 1993]. История ХХ века показывает, что, в частности, историческая и социологическая науки не просто занимаются познанием прошлых и современных процессов, но создают образы мира, несущие определенную идеологическую нагрузку. Апелляция к понятию нарратива обусловлена необходимостью обрабатывать исходный эмпирический материал так, чтобы историческая действительность не оказалась преобразована в угоду той или иной идеологии, – концепт нарратива позволяет легитимировать разрабатываемые теории их выведением из нарративов повседневного опыта обычных людей. Если же говорить о нарративах самих ученых, то можно отметить некоторое различие в познавательном интересе социологов и историков: по мнению Ф. Анкерсмита, «аромат эпохи можно вдыхать только в последующей» [2003, с.331], т.е. историки ориентированы на выделение наиболее характерных черт эпохи после ее окончания; для социологов, наоборот, важно практически одновременное с нынешним днем выявление его социальной симптоматики, типических черт общества.

Социологи недавно обратились к нарративу, хотя сама социологическая деятельность предполагает «сбор историй (посредством интервью и т.д.) и рассказывание историй (о современности, классах и т.д.)» [Maines, 1993, p.17]. Социологические трактовки нарратива опираются на сформулированные в рамках философии, лингвистики, истории и психологии положения и склонны включать в понятие нарративного анализа характеристики качественного подхода в целом. Нарративный подход в социологии предполагает повсеместный характер рассказывания «историй», т.е. рассматривает нарративы как формы человеческого поведения, социальные действия, возникающие в определенных условиях и ориентированные на других: посредством нарратива жизнь каждой личности превращается в осмысленное целое, а жизнь социума формируется переплетением индивидуальных повествований.

***ГЛАВА 2.***

***ЛОГИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «НАРРАТИВ»***

***В СОЦИОЛОГИИ:***

***ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ***

По мнению Р. Францози, социологи должны изучать нарративы, потому что «нарративные тексты просто напичканы социологической информацией, и большинство эмпирических данных имеют нарративную форму – даже результаты анкетирования часто скрывают за числами значимые нарративы» [Franzosi, 1998, p.517]. Ряд западных ученых характеризует современный этап развития социологии как последовательную нарративизацию и формулирует следующие постулаты *нарративной социологии:* 1) все социализированные индивиды являются рассказчиками и постоянно находятся в ситуации потенциального рассказывания историй; 2) большинство речевых действий содержат элементы нарратива; 3) выбор варианта нарратива зависит от конкретной ситуации, аудитории, индивидуальной перспективы и властной иерархии; 4) нарративы допускают возможность как конфликта, так и сотрудничества; 5) различие уровней лингвистической компетентности и неопределенность субъективных позиций обусловливают незавершенность большинства нарративов; 6) нарративы различаются по длительности и степени институционализации; 7) информации без интерпретации не существует, поэтому все социологические данные нарративны; 8) рассказчики предлагают разные версии одного и того же события разным слушателям и в разное время [Maines, 1993]. Р. Мелло вообще считает, что понятие «качественное исследование» может быть заменено на «нарративное исследование», что подчеркнет его природу как «эклектичного набора многомерных и гетерогенных полей изучения» [Mello, 2002, p.232]. Нарративные исследования начинаются не с теоретических посылок, а с интереса к конкретному феномену (понять который лучше всего через нарратив), и связаны с созданием описаний и интерпретаций феномена с точки зрения участников и исследователей.

***Методологические основания обращения к нарративу***

Прежде чем рассматривать параметры работы с нарративами личного опыта на теоретическом и эмпирическом уровнях социологического анализа, необходимо указать, каковы методологические основания обращения к понятию «нарратив» в социологии. Во-первых, в соответствии с *теорией интерпретации*, (1) объект интерпретации (текст или «аналог текста») должен обладать смыслом – описываться в категориях ясности, согласованности, внятности либо в противоположных им; (2) этот смысл должен быть отличен от средств его выражения, т.е. данный набор средств выражения может передавать нескольких смыслов; (3) должен существовать субъект, которому приписывается производство текста [Девятко, 1996, с.54]. Поскольку интерпретация зависит от целостного контекста взаимосвязанных убеждений, ценностей и практик интерпретатора, из её принципиальной неопределенности следует возможность и желательность различных «прочтений» любого текста.

Во-вторых, основной постулат *этнометодологии* утверждает рефлексивное использование действующими индивидами своих обширных «запасов знаний» о ситуации взаимодействия для обеспечения осмысленной интерпретации собственных поступков и действий других: «наша способность понимать и полностью осознавать значение <текста> неизбежно зависит от запаса прошлых знаний, которые читатель сознательно или неосознанно использует для конструирования значения» [Franzosi, 1998, p.545]. Рассмотрение норм объективности, рациональности и фактичности как зависимых от конкретного контекста случайной ситуации, в которой их удалось «достичь», позволяет этнометодологам утверждать ситуативный характер социальной организации повседневных практик: «социальный мир состоит не из чего иного, как из конструктов, анализа и интерпретаций» [Социальные процессы…, 2000, с.53], следовательно, задача социолога состоит в том, чтобы объяснить методы конструирования своего социального мира членами общества. В этом смысле практически не существует разницы между социологами и «обычными» людьми – создание любых «документов» предполагает процедуры теоретизирования и конструирования картины упорядоченной и систематизированной социальной жизни. В качестве основных понятий этнометодологии выступают [Исупова, 2002, с.34-35]: «практика» (постоянное производство и обработка акторами информации в ходе языкового взаимодействия), «индексность» (совокупность контекстуальных значений слов), «рефлексивность» (постоянное сопоставление действия с имплицитными кодами поведения человека в той или иной ситуации), «объясняемость» (способы рационализации повседневной деятельности, придающие ей организованность и упорядоченность), «Членство» (участие в коллективном процессе постоянного воссоздания естественного языка, придания словам новых смыслов).

В-третьих, обращение к нарративу соответствует *феноменологическому призыву к анализу «естественных» данных* и трактовке социологии как «деятельности по прояснению правил интерпретации и облегчению коммуникации» [Бодрийяр, 1999, с.103]. Феноменологическая социология утверждает двойную фактичность общества [Социальные процессы…, 2000, с.77]: оно состоит из объективно существующих феноменов и одновременно как «жизненный мир» предстает в виде субъективных значений и коллективных представлений, которые конструируются людьми в процессе их деятельности и коммуникации, поэтому, интерпретируя социальные реалии, индивиды опираются на свой личный опыт и знания о мире.

В рамках феноменологической социологии акцент на изучении индивидуального сочетается с «естественным» способом получения данных (исследовательский процесс не должен нарушать привычного для акторов уклада жизнедеятельности [Готлиб, 2002, с.129]), а включение эмпирических данных в систему научного знания предполагает ряд последовательных этапов: понимание непосредственного содержания высказываний (доступно любому грамотному человеку); установление того смысла высказываний, который вкладывали в них респонденты (качественный анализ данных); понимание причин формирования именно таких высказываний (объективных и субъективных, связанных и с предметом обсуждения, и с процедурой проведения интервью); определение ценности полученных сведений с точки зрения достижения поставленных исследовательских целей [Социальные процессы…, 2000, с.66].

Феноменологический подход допускает «социологическое переписывание» нарратива/«повествования о себе», поскольку, будучи объективацией общих социальных процессов, рассказанная история дает возможность «реконструировать кристаллическую решетку знания группы: социальное изменение тесно связано с тем, что происходит с социальными агентами» [Козлова, 1999, с.20]. «Социологическое переписывание» основано на следующих характеристиках речевой деятельности [Журавлев, 1996, с.99]: 1) информация не только передается и принимается, но и формируется (высказывания не просто отражают данность, а создают нечто новое и неповторимое); 2) высказывания контекстуально обусловлены и сами являются частью социального контекста; 3) смысловая структура переживания события изменяется в зависимости от времени, отделяющего его от актуального «здесь-и-теперь» (значение события диктует его «сиюминутная» релевантность); 4) на восприятие высказывания влияет значение и степень выраженности его экспрессивного компонента; 5) каждый речевой акт имеет определенные следствия для участников коммуникации.

В-четвертых, для социологической трактовки нарратива важно *лингвистическое разграничение форм функционально-стилистической репрезентации времени в языке*: повествование (нарратив), описание и рассуждение – это основные композиционно-речевые формы, показывающие различную «фактуру» времени. В строгом смысле эгоцентричное время прослеживается только в нарративных текстах, основной функцией которых является сообщение о некотором событии. Ненарративные жанры отражают мир сквозь призму вечно длящегося настоящего момента: описание и рассуждение не имеют временн*о*го вектора – они создают логическую, а не темпоральную последовательность [Карасик, 1997]. Основная функция *описания* – запечатлеть момент действительности, дать образ предмета в его естественной среде вместо простого его называния, поэтому описания в основном фактографичны, или «фотографичны» (пейзажные, портретные). Задача *повествования* – дать представление о развитии описываемых событий (вступление, завязка, развитие действия, кульминация, завершение действия, развязка, заключение) в их реальной или искусственной последовательности (если последняя кажется автору более целесообразной, чем существующая на самом деле); в основе повествования лежит противопоставление фабулы (совокупность событий, о которых сообщается в тексте) сюжету (частичное, выборочное, авторское отражение фабулы в тексте). *Рассуждение* обычно четко распадается на тезис, доказательство (аргументацию) и вывод (заключение/обобщение), хотя последний элемент часто отсутствует – сказанное подтверждается аргументацией, и вывод предлагается сделать самому читателю/слушателю [Шевченко, 2003].

В-пятых, при проведении социологического исследования *субъективистский подход* требует учитывать (1) активную роль респондента и его влияние на исследователя («мы – часть изучаемого мира, и нам не избежать отношений с теми, кого мы изучаем»); (2) глубину наблюдения, а не широту охвата как основу надежности данных (если сущность социального явления не позволяет стандартизировать ответы, то лучше расшифровать смысл речи и действий индивида); (3) исторический контекст изучаемых процессов и явлений; (4) невозможность обеспечить репрезентативность «мягкого» исследования (специфика единичной социальной ситуации требует отказаться от построения новой теории из только что полученных в исследовании данных и соотносить их с уже существующими теориями) [Добрякова, 2001, с.41‑44]. Сегодня социологи часто заменяют слово «субъект» понятием «актор», чтобы «артикулировать массовые повседневные практики» [Козлова, Сандомирская, 1996, с.55]: с одной стороны, понятие актора релятивизирет представление о субъекте, поскольку в центре внимания исследователя оказываются способы действия, а не их авторы/носители; с другой − появляется возможность рассматривать все многообразие форм и степеней субъективности, так как диспозиции и способности к деятельности могут меняться (процесс развития человека не имеет фиксированных границ).

И, наконец, *герменевтическая традиция*, подразумевающая отсутствие установленной процедуры и параллельное развитие информации и интерпретации, предполагает, что в самом общем виде работа с биографическими нарративами включает в себя прочтение текстов, «вживание» в их содержание и вычленение «когнитивных фигур», которые подвергаются многократному анализу [Цветаева, 1999, с.118]. Рассматривая текст в его притязании на истинность и вводя тезис о принципиальной открытости интерпретации и неотделимости понимания текста от самопонимания интерпретатора [Современная западная философия, 1998, с.99], в качестве главной задачи изучения нарративов герменевтика утверждает характеристику биографического дискурса через смысловые структуры, возникающие при анализе отношений между событийной канвой нарратива и оценочными суждениями автора. Иными словами, важна не столько референциальность истории жизни, сколько «практические схемы» мышления, диапазон и вариативность обнаруженных в текстах смысловых структур, «репертуар возможностей», а не частота их обнаружения.

Интерпретация в строгом смысле (как истолкование текста) «обнаруживает глубокий замысел – преодолеть культурную отдаленность, дистанцию, отделяющую читателя от чуждого ему текста, чтобы поставить его на один с ним уровень и таким образом включить смысл этого текста в нынешнее понимание, каким обладает читатель» [Реснянская, 1994, с.4-5]. Герменевтика рассматривает понимание как способ познания и способ бытия человека в мире (к «онтологии понимания» склоняются лингвистический и семантический анализ). Понимание нарратива предполагает компетентное и целенаправленное представление системной и целостной «картины мира» другого человека – «составление картины мира другого» становится основной метафорой нарративного анализа [Василенко, 1999, с.7]. Когда социолог сталкивается с нарративом, ему приходится бороться с искушением поспешно интерпретировать поведение другого в рамках своей картины мира; чтобы избежать этого, необходимо выйти из сферы собственных убеждений, быть готовым услышать другого и помнить о собственной предвзятости.

Логика герменевтического исследования предполагает его процессуальный характер [Кузнецов, 1991, с.175-176]: «мы понимаем А (в нашем случае это нарратив), если и только если 1) знаем смысл известных частей А; 2) существует реконструкционная гипотеза h о смысле А; 3) интерпретируем непонимаемый остаток; 4) объясняем роль каждого элемента в структуре целого А относительно гипотезы h; 5) если гипотеза h позволяет объяснить роль каждой части в формировании смысла целого А, то мы понимаем смысл А, а если роль какой-либо части не объяснена, то формулируется новая реконструкционная гипотеза и процесс повторяется, начиная со второго пункта, до тех пор, пока не будет установлен смысл А». Поскольку мир индивидуального непрерывно изменяется, исследователь должен учитывать, что только в горизонте постоянной изменчивости повседневности отдельного человека выявляется вся полнота частностей и фактов: «постоянство изменения, взятое в необходимости его протекания, есть закон герменевтического исследования» [Василенко, 1999, с.8-9].

В целом обращение социологии к нарративу укладывается в общую *тенденцию роста интереса социальных наук к биографиям:* в современном обществе социальные структуры (классы, семья, профессиональные сообщества, долговременная занятость и т.д.) перестали обеспечивать четкие границы идентичности [Рустин, 2002, с.7] – общество предлагает индивидам множество вариантов устройства жизни. Н.Н. Козлова обозначает данное состояние как «утрату предопределенности жизненных рамок», «снижение ритуальности», «бездомность»: сегодня человек вынужден постоянно делать выбор и заниматься социальным творчеством, поскольку межличностные отношения независимы от традиционных родственных и клановых связей. В итоге возникает «Я», для которого самоидентичность является проблемой и которое осмысливает себя в терминах автобиографии – «целостного, постоянно корректируемого жизненного проекта, осуществляемого в контексте поливариантного выбора» [Козлова, 1999а, с.109-121]. Необходимость легитимизировать себя в изменчивом мире обусловливает, в частности, селективность памяти – она становится защитой от самого себя: работая над собственным «Я»-проектом в настоящем, человек выбирает в памяти о прошлом то, что доступно и может помочь. Доминантой траектории «Я» становится жизненный цикл, а не события внешнего мира.

Описанная ситуация породила проблему «невмещаемости» личности/индивидуальности в социальные роли, которая стала ключевой для романа как ведущего литературного жанра ХХ века: «человек оказывается или больше своей судьбы или меньше своей человечности, поскольку весь до конца он не может стать ни чиновником, ни помещиком, ни купцом, ни женихом, ни ревнивцем, ни отцом и т.д.» [с.110‑111]. Пока человек жив, он пребывает в точке пересечения всевозможных идентификаций, его жизнь постоянно и радикально меняется, а биография отражает «движение по разным мирам, ни один из которых не воспринимается как дом; ключевая метафора современности – бездомность, неопределенность и плюрализация повседневной жизни (биографии)». С помощью языка (различных клише), привычек, обычаев и других рутинных действий «в частной жизни индивид конструирует прибежище, которое должно служить ему домом, но холодные ветры бездомности угрожают этим хрупким конструкциям» [с.121]. Поскольку «обобщающие исследования в науке не могли схватить специфичность и сиюминутность жизненных реалий, в фактологических описаниях индивидов отсутствовали сопоставимость, связность и ощущение «эссенциальности» [Рустин, 2002, с.12], интерес социальных наук к биографиям в качестве предмета исследования вполне оправдан – документально-биографическая литература «возможна лишь потому, что мир еще не достроен … сегодняшний мир – без гарантий»[[7]](#footnote-7). Семейная, индивидуальная инициативная биографическая работа направлена на вписывание себя в существующие структуры – так человек создает символические образцы (квазисословную идентификацию) и вырабатывает конкретные стратегии поведения.

Биографические данные, «этот перегной человеческой памяти, … неподатливы, темны, непрозрачны, не разжеваны, не классифицированы, не разграфлены, не осмыслены, хаотичны … каждый человек – загадка, но в каждом человеке – весь Человек сполна» [Сартр, 2004, с.54-56,77]. Основная методологическая и методическая сложность анализа любых биографических данных состоит в том, что даже сам человек не всегда осознает глубины, искренности своих чувств: «поступки не могут быть мерилом эмоций до тех пор, пока не доказано, что они не поза, а доказать это не всегда легко … тщетно пытаться встать на место ушедшего, делая вид, что разделяете его страсти, заблуждения, предрассудки … все равно вы будете оценивать поведение покойного в свете результатов, которые нельзя было предвидеть, и сведений, которыми он не располагал, вы все равно будете придавать особое значение событиям, оказавшимися впоследствии поворотными, хотя для него самого они пролетели незаметно» [с.78,229]. Биографические материалы содержат слишком много специфики, чтобы запоминать их сами по себе. Необходим подход, не просто детально описывающий, но и обобщающий факты субъективного опыта, выявляющий причинные связи и формирующий типологии, – нарративный анализ претендует на соответствие этим критериям.

Нарративный анализ будет рассматриваться нами как совокупность приемов работы именно с текстовыми данными, хотя очевидно, что любое сообщение (в широком смысле этого слова) может быть как устным высказыванием или «письменным дискурсом», так и изображением (кино, фотография, спектакль, реклама и т.д.). Однако, по мнению Р. Барта, поскольку любое сообщение создается с целью коммуникации и наделено определенным значением, «о нем можно рассуждать независимо от его вещественной основы ... хотя зрительный образ императивнее письма, свое значение он внушает нам сразу целиком, без разложения на дробные элементы, подобное различие не является конститутивным – как только зрительный образ начинает нечто значить, он сам становится письмом и в этом качестве предполагает и некое словесное оформление» [Барт, 2000, с.235]. Ограничение рассмотрения нарративного анализа текстами оправдано еще и тем, что фильмы и пьесы стремятся создать у зрителя впечатление присутствия на месте действия, пассивного участника событий, поэтому их содержание не упорядочено в форме повествования: интерпретация пьесы/фильма возможна, когда мы записываем, что в них произошло, придаем им нарративную структуру, которой они не обладают, даже если являются инсценировками повествований [Анкерсмит, 2003а, с.21].

***Неоднозначность понятия «нарратив»***

В социологической литературе понятие нарратива используется в качестве характеристики речевой деятельности как респондента, так и социолога [Сыров, 1999]. Хотя «социологи пытались провести водораздел между собой и изучаемыми людьми, … создать дистанцию на основе специализированного жаргона, обозначающего повседневные понятия» [Franzosi, 1998, p.543], повсеместность нарратива как «частного вида текста» не позволила реализовать это намерение. С.А. Белановский [2001] предлагает следующую классификацию тем глубокого интервью в зависимости от типа смысловой связи, предпочитаемой респондентом: *повествование* (изложение хода событий во времени или отображение частей сложного события в прямой или обратной хронологической последовательности); *описание* (отображение составных частей сложного объекта или явления, связанных пространственными, функциональными или иными отношениями); *рассуждение* (причинно-следственная упорядоченность в форме перехода от констатаций к обобщению, от элементов – к их связям и т.д.). Некоторые исследователи обозначают понятием «нарратив» ответы на открытые вопросы в рамках репрезентативного исследования даже на общероссийской выборке [Устная истории и биография…, 2004, с.222]. Г.С. Батыгин классифицирует используемые социологом способы интерпретации связи между переменными с помощью понятий *интерференции* (анализ связи в логических категориях, без обращения к эмпирическим данным), *контингенции* (статистически значимая связь, не поддающаяся однозначному объяснению) и *нарратива* (рассказ о связи между переменными, основанный на исторических иллюстрациях и описаниях «случаев из жизни», где доказательность заменяется риторической убедительностью) [1995, с.62].

Многие зарубежные исследователи называют социологов «нарраторами», распространяющими «истории» (теории); «практиками», использующими нарративные элементы в журнальных статьях и отчетах; «пленниками» метанарративов западного рационализма и «фольклористами» своей группы [Ellerman, 1998; Ezzy, 1998; Fraser, 2004; Maines, 1993]: «теории сами представляют собой повествования, только в скрытом виде, и не следует позволять вводить себя в заблуждение их претензией на всевременность» [Декомб, 2000, с.177]. Социологи становятся нарраторами, чтобы объяснить, каким образом они используют повествования других людей и свои собственные: конструирование нарративов посредством продуманного отбора прошлых событий и представления их в виде хронологически выверенной «истории» позволяет превращать в эмпирические объекты ненаблюдаемые пространственные и временные конфигурации. Подобный подход основан на допущении, что социологическое исследование – это «прочтение» мира, нацеленное скорее на убеждение читателя в правильности предлагаемой интерпретации значимых для него практик и символов, чем на доказательство таковой» [Fraser, 2004, p.183‑184].

Социологи-нарраторы становятся критически настроенными интерпретаторами «социально релевантных концептов» [Weinstein, 2004, p.33], а их статьи − критическими повествованиями, в которых события рассматриваются с точки зрения породившего их экономического, политического и социально-исторического контекста. В качестве оптимальной структуры социологического нарратива Р. Кемпбелл предлагает: 1) контекст исследования (например, в экологической социологии это географический и исторический «фон» рассматриваемых событий); 2) презентация конкретных деталей проведенного исследования; 3) хронология событий в рамках изучаемого явления; 4) «многовариантный» анализ используемых для определения изучаемых событий и явлений концептов [Campbell, 2002].

Любая научная теория обладает *универсальными характеристиками нарратива* [Декомб, 2000, с.177-178]: 1) всегда повествует о предшествующем повествовании, а не ссылается на чистый факт; 2) никогда не является законченной, поскольку слушатель/читатель впоследствии может рассказать ее в новой форме. В этом смысле анализ нарративов позволяет показать, как социологические практики включают в себя специфические языковые игры с людьми, от которых мы получаем информацию (субъекты/объекты исследования) и которым ее передаем (читатели), и утверждает необходимость «открытых» научных текстов, раскрывающих условия собственного производства.

Если раньше объективность данных обосновывалась через систематическое устранение проявлений субъективности автора («ученого») и взаимодействия автора и субъектов («объекта» исследования) в формате «стандартной» социологической статьи, то сегодня последняя рассматривается только как литературная техника, а не единственное средство легитимации социального знания. Возникают новые формы «письма», нарушающие привычные структурные каноны традиционной научной статьи, но позволяющие связывать академическую работу с личным опытом, – это так называемые «альтернативные варианты научной репрезентации» [Richardson, 2002, p.414-417; Suchan, 2004, p.30]: транскрипты глубинных интервью (могут иметь форму «нарративной поэмы»), объединение коротких транскриптов в один социологический нарратив, личные эссе, драматические репрезентации этнографических наблюдений, автоэтнографии, многослойные повествования, смешанные форматы, транскрибированные разговоры и т.д.

В современной социологической литературе не существует однозначной трактовки нарратива: одни авторы предпочитают широкое определение нарратива как метафоры разнообразных форм жизнеописания, не подразумевающей систематических методов анализа и детальной записи; другие используют понятия нарратива и биографии как синонимы, считая, что они выстраиваются в соответствии с линейной временн*о*й последовательностью [Козлова, Сандомирская, 1996, с.67]; третьи дают жесткое определение нарратива как истории о специфическом прошлом событии, т.е. «минималистское определение нарратива – воспринимаемая последовательность неслучайным образом взаимосвязанных событий» [Franzosi, 1998, p.519]; четвертые уверены, что нарративы личного опыта – «техника качественного исследования, которая использует рассказы респондентов о собственной жизни в качестве информационной базы исследования … в целях понимания и интерпретации конкретного социального феномена» [VanWynsberghe, 2001, p.733].

Ф. Анкерсмит оценил возможность четкого определения нарратива, рассмотрев следующие попытки сформулировать дефиницию «идеального нарратива» (очищенного от всех случайных и побочных элементов своего проявления) [2003а, с.52‑89]:

* «Идеальный нарратив содержит ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по отношению к его предмету, т.е. нарратив – последовательность вопросов и ответов на них». Но нарратив должен отвечать только на все свои внутренние (вызываемые его противоречиями или предлагаемыми интерпретациями), а не на внешние вопросы, которые могут быть сформулированы в любой мыслимой перспективе. То есть данное определение неприемлемо, потому что отождествляет наилучший нарратив с наиболее убедительным.
* «Идеальный нарратив облегчает ориентацию в мире и служит надежным руководством в настоящих и будущих действиях». Прагматистский подход неприемлем по ряду причин: экстраполяция прошлых тенденций в будущее – процедура не только рискованная, но и не всегда понятная с точки зрения реального воплощения; выбор конкретного нарратива как руководства к действию всегда диктуется этическими ценностями.
* «Идеальный нарратив – самый простой, элементарный, своего рода молекула, состоящая из ряда атомов». Это определение не срабатывает, потому что мы не замечаем разрывов между отдельным предложением и повествованием в целом, двигаясь «сквозь непрерывную толщу нарратива».
* «Идеальный нарратив – стройная аргументация, с которой вынужден согласиться всякий разумный читатель: логическая структура нарратива представлена «моделью охватывающих законов» – точным описанием фактов и общезначимостью причинной связи между ними». Однако нарративная связность эпизодов повествования достигается и в случае отсутствия между ними причинной связи – в отличие от аргументации, нарратив имеет конец, а не заключение (восстановить обусловившие его посылки невозможно), который является не своеобразной стенограммой рассказанного ранее, а неотделимой частью нарратива как целого.
* «Идеальный нарратив – полное и подробное описание прошлого, его точная копия». Такая точность недостижима и не нужна, поскольку от любого повествования мы ожидаем рассказа только о том, что важно.
* «Идеальный нарратив корректно сообщает всю ценную информацию по тому или иному аспекту прошлого». Подход архивариуса неприемлем, потому что в нарративе исследователя интересует не демонстрация знания нарратора о прошлом, а как это прошлое изображается.
* «Идеальный нарратив излагает сущность фрагментов прошлого». Эссенциалистский подход безупречен с точки зрения намерений любого нарратора, однако чего-то с ярлыком «сущность» в прошлом не существует – только ее нарративное представление.

По мнению Анкерсмита, подобные попытки определить нарратив не просто ошибочны, так как строятся на основе априорных интуитивных представлений и не учитывают свойств реально существующих нарративов, а абсолютно бесплодны, как и дискуссии об «идеальном человеке». Он предлагает *«формалистическое» определение нарратива* как серии единичных высказываний, в которой нас интересует не просто их конъюнкция или последовательность, а обобщенное содержание [Анкерсмит, 2003а, с.91,95]. Для социологии важно дополнить данное определение тем, что нарратив – это всегда «дискретная единица текста с четким началом и окончанием», в которой повествование специально организовано вокруг последовательных событий и значим сам контекстповествования (позиция рассказчика, конкретная ситуация рассказывания, присутствие слушателя и т.д.) [Бодрийяр, 1999, с.10; Ярская-Смирнова, 1997а, с.38]. Чтобы речевое действие стало нарративом, репрезентацией ненаблюдаемых пространственно-временных конфигураций социальных практик, необходимо: 1) тщательно отобрать и прокомментировать события прошлого; 2) трансформировать эти события в элементы истории (сюжет, «декорации», описание героев и т.д.); 3) создать временн*у*ю организацию повествования так, чтобы она сама объясняла, почему и как события происходили [Maines, 1993].

Интерпретация нарративов неизбежна: выражая одновременно фазу необходимого отделения субъекта от группы – «процесс написания текста есть не что иное, как подтверждение дистанции между пишущим и его окружением»[[8]](#footnote-8) – и фазу его добровольного возвращения в неё, нарратив оказывается выражением «пересечения индивидуальных и социальных полюсов человеческой жизни» [Ярская-Смирнова, 1997а, с.47]. *Личностная идентичность* формируется на социальной базе через использование социально обусловленных языковых категорий: «мы вспоминаем себя в таком модусе, который указывает на коллективные инстанции социализации в рамках коллективов, которые это восприятие контролируют, подкрепляют или отклоняют» [Устная история…, 2004, с.14]; мы одновременно осознаем значимость социально-культурного контекста для конструирования «себя» и неосознанно излагаем свою историю в соответствии с конституированными социальным порядком нарративными структурами [Робертс, 2004, с.10]. Самоидентичность – нарративное понятие [Анкерсмит, 2003а, с.261]: она не заключена в каком-то свойстве человека, в его телесной непрерывности, в памяти или сознании, но присутствует в соединении высказываний индивида о его переживаниях и в готовности дополнять и изменять эту совокупность фраз. Образно формирование самоидентичности описано в художественной литературе: «с юности делаешь титанические усилия, чтобы собрать, сложить свое «я» из случайных, чужих, подобранных жестов, мыслей, чувств, чтобы … обрести полноту самого себя»[[9]](#footnote-9).

*Социальный пласт* повествования является неотъемлемым элементом любого нарратива, поскольку именно «другие люди – опора индивидуального существования … одиночество убивает не только смысл вещей и явлений, оно угрожает самому их существованию … земля, по которой ступают мои ноги, нуждается в том, чтобы и другие попирали ее, иначе она начнет колебаться под ними»[[10]](#footnote-10). Знание, которым владеет человек, контекстуально, ситуационно и зависит от социальной локализации (гендерной, классовой, профессиональной): любая индивидуальная жизнь социально конструируется через множество социальных сетей, в которые включен человек. Например, Р. ВанВинсберге использовал нарративный метод «неоконченной истории», чтобы объяснить процесс мобилизации участников социального движения через формирование коллективных представлений [VanWynsberghe, 2001, p.734]. Задавая открытые вопросы, исследователь предлагал респонденту завершить гипотетическую ситуацию, сформулированную им по итогам полевых наблюдений за изучаемым локальным сообществом, разговоров с его членами, чтения релевантной местной литературы и т.д., – в ходе беседы определялись доминантные тренды идентичности респондента, детерминированные коллективными представлениями местных жителей.

В социологической литературе понятие нарратива часто встречается в сочетании с другими понятиями, которые могут как прояснять, так и усложнять его содержательную трактовку.

*Нарратив и «наивная литература»*

Помимо очевидного, введенного У. Эко, разделения «наивного» (читатель) и «критического» (ученый) прочтения текста, где последнее является интерпретацией первого, существует различение «наивной» и «традиционной» литературы. «Наивная литература» достаточно условно распадается на «наивную словесность» – «авторские» устные и письменные формы; «наивное письмо» – любые малограмотные письменные тексты, которые сегодня получают статус «полноценной литературы»[[11]](#footnote-11); «наивный дискурс» – речевые высказывания (в лингво-семиотическом смысле слова), лежащие в основе текстов [«Наивная литература»…, 2001, с.4-5].

В целом под наивной литературой понимается наивное стихотворчество и наивные жизнеописания; в нее не входят чисто функциональные тексты (типа деловых записок, инструкций и т.п.), поскольку сами «наивные» носители культуры четко отграничивают их от «документально-художественных», но здесь возможны некоторые промежуточные формы. Первой ключевой особенностью «наивной литературы» является ее спонтанное рождение [Козлова, Сандомирская, 1996, с.13] – не в результате полу-директивного интервью, не по просьбе социального исследователя, не в ответ на призыв по радио. Вторая особенность «наивной литературы» состоит в том, что производители «наивного письма» обычно по неведению нарушают все три нормативных «алфавита» литературного языка: алфавит грамматических, лексических и текстообразующих средств языка; алфавит картин мира и возможных миров художественной реальности (наивность письма нарушает требования художественности); алфавит культурных стереотипов и коллективных архетипов [Козлова, Сандомирская, 1996, с.36].

Основной момент сходства «наивной литературы» и нарративов состоит, с одной стороны, в стремлении подражать образцам «высокой» словесности, использовании стилистических и содержательных трафаретов массовой словесности; с другой – в неумении выдержать до конца сюжетную линию, слабости в разработке фабульных и психологических мотивировок, неразличении масштабов изображаемого, склонности к простейшим кумулятивным способам повествовательной техники и т.д. [«Наивная литература»…, 2001, с.9]. Произведения «наивной литературы» и нарративы обычно рассказывают о тех событиях, «которые в меньшей степени предсказуемы, ожидаемы, тривиальны и для рассказчика и для слушателя, т.е. они должны быть хотя бы относительно «интересными» [ван Дейк, 1989, с.191]. Поэтому для многих «наивных» авторов характерна специфическая амбициозность – содержание повествования кажется рассказчику исключительным, он считает своей заслугой, что донес его до других – односельчан, потомков, потенциальных читателей. Авторы подобных текстов, в отличие от фольклора, осознают себя как Авторов, хотя, и по социальному статусу в том числе, не имеют ничего общего с литературой и весьма приблизительно представляют себе литературной канон, так как их тексты реализуют установку не на «художественную правду», а на «правду жизни». Соответственно, чтобы понять любой «наивный» текст, необходимо извлечь из него систему ценностей автора. Важно не только то, о чем он пишет, но какие акценты, исходя из своих представлений, в повествовании расставляет. Система ценностей человека довольно трудно извлекаема в эмпирических исследованиях хотя бы потому, что редко бывает осознана самим респондентом. Но поскольку ценности всегда эмоционально окрашены, их обнаружение возможно на основе выделения элементов текста, сопровождаемых наибольшим эмоциональным откликом [Чеснокова, 1973, с.98].

Основное различие нарративов и произведений «наивной литературы», видимо, состоит в том, что в первом случае речь идет о форме социобиографических данных (повествовании), а во втором – о квазилитературном жанре, в рамках которого разовая, и в этом смысле уникальная, рукописная, спонтанная, производимая «на потребление», а не «на сбыт» (иногда ориентированная на камерное, даже интимное бытование в семье или узком круге друзей) «продукция» может воплощаться в нарративах личного опыта или любой иной форме. В отличие от нарративов, к «наивному письму» неприложимы признаки стиля, нарративности, экспрессивности текста и пр. Тем не менее, нарративы как «истории жизни» – тоже «литература», поскольку, подобно литературным сюжетам, они не только основываются на воспоминаниях о прошлом, но и конструируются [Rossiter, 1999, p.60]. Поэтому, «когда мы пытаемся понять действия других, мы должны действовать как литературные критики, трактуя действия как тексты, а не как ученые-эмпирики, стремящиеся «уложить» объективную реальность в заранее подготовленные схемы» [Irwin, 1996, p.109].

Как и в нарративном анализе, в центре внимания исследователей «наивного письма» оказывается не столько его референт, сколько тип текста как продукт практики письма, взятый в качестве социокультурной симптоматики [Козлова, Сандомирская, 1996, с.17‑18]: одни «человеческие документы» написаны на нелитературном языке, без точек и запятых, с орфографическими и стилистическими ошибками (нарушение норм литературного языка свидетельствует о низком социальном статусе автора); другие похожи на сборник газетных клише, хотя человек может сильно и искренне переживать, размышляя о собственной жизни; третьи сочетают в себе обе эти разновидности письма, демонстрируя неуспешное воспроизведение официальной речи, «казенных» клише. Интерпретация текстов «наивной литературы», как и нарративов, неизбежна. Н.Н. Козлова и И.И. Сандомирская выделяют следующие ее типы:

* чрезмерно радикальная и тупиковая психиатрическая интерпретация текста как психопатологического дискурсивного образования (фантазма, галлюцинации, бреда), а его автора – как истероидной личности;
* достаточно тривиальная и убедительная политическая интерпретация − обнаружение в тексте цитирования идеологического метанарратива и оценка самопозиционирования автора по отношению к нему;
* эстетическая интерпретация текста как не совсем состоявшегося художественного произведения, который, благодаря своей «наивности», вызывает сильнейшую эмоциональную реакцию читателя и предполагает оценку своих художественных достоинств в свете жизненной судьбы автора;
* духовно-нравственная интерпретация читателем, владеющим нормами письменной речи, текста малообразованного человека становится причиной чувства социальной вины и угрызений совести из-за неравномерного распределения нормативного языка и культурного капитала в обществе.

Какой бы способ интерпретации произведений «наивной литературы» или метод нарративного анализа ни принял читатель/исследователь, его позиция «небезгрешна» уже потому, что его собственные «мифы» и стереотипы вступают в своеобразную «символическую войну» с противостоящими им авторскими. В науке эта «война» определяется как несовпадение идентичностей: языковых (кто владеет/не владеет языком) и нарративных (кто владеет/не владеет правом «рассказывать истории») [Козлова, Сандомирская, 1996, с.31-35].

*Нарратив – метанарратив*

В философии понятия нарратива и метанарратива были разведены Ж.‑Ф. Лиотаром в контексте перехода от состояния модерна к постмодерну, который выразился в критике общепринятых концепций фундаментального единства прошлого (метанарративов, *«grands recits»*) и его разбиения на множество несоизмеримых отдельных фрагментов (нарративов, *«petits recits»*) [1998]. Метанарративы как формы легитимизации науки (повествования о либерализующих результатах прогресса научного знания в эпоху Просвещения, марксизм и т.д.) сегодня распадаются на множество самостоятельных «локальных» языковых игр в различных научных сообществах – попытки организовать эти социокультурные фрагменты в большое и всестороннее целое или иерархизировать обречены на неудачу.

В социальной психологии под метанарративами понимаются образы «правильного» и «неправильного» мира, которые выполняют функцию защиты и адаптации человека к ситуации [Улыбина, 2001, с.78-85]: «вера в справедливый мир» фиксирует стремление людей жить в удобном, предсказуемом мире, поддерживает уверенность в том, что данная группа (народ, общество, государство и т.д.) хороши и пригодны для жизни, если соблюдать определенные правила; образ «неправильного» мира помогает человеку пережить горечь неудачи в реализации своих жизненных проектов.

«Правильные» тексты представляют собой род нравоучения, задача которого – закрепление выработанных ценностей и создание «жизнеутверждающего мировоззрения». Они существуют не внутри социальных групп (хотя последние всегда создают нужные им «мифы»), а свободно циркулируют в обществе, оказывая значительное влияние на формирование господствующей идеологии, т.е. метанарративы одновременно являются частью культуры и здравого смысла и отражают властные отношения, закрепляя восприятие сложившегося положения вещей как правильного и справедливого (например, в американском обществе достаточно благоприятно воспринимается материальное неравенство и существует широко разделяемое представление о преимущественно позитивных личностных качествах богатых людей и негативных – бедных [Диттмар, 1997, с.29]). «Неправильные» тексты отрицают официальную идеологию и культуру, но при всем своем пессимизме подчеркивают значимость индивида и относительность традиционных групповых ценностей. И «правильные», и «неправильные» тексты мирно сосуществуют на уровне обыденного сознания, воспроизводя его исходную смысловую амбивалентность.

В социологии под метанарративами понимаются «большие нарративы»/«публичные мифы»[[12]](#footnote-12), социокультурные нормы общества, доминирующие социальные представления (например, в советское время «большим нарративом» была идеологема заботы государства о каждом «простом» человеке). Соответственно, под нарративами понимаются «мифы индивидуальные» [Робертс, 2004, с.7]. Метанарративы позволяют конструировать социальное прошлое (официальные идеологии содержат мифологическую подструктуру, «риторические формы»), нарративы – выстраивать свой жизненный путь, соотнося его с широким социальным контекстом. Объединяет оба понятия способность придавать жизни значение, единство и цель через интерпретацию «прошлого», осмысление «настоящего» и планирование «будущего».

Некоторые общие мифы, например, о «несчастливом детстве», «человеке, сделавшем самого себя» и др., могут быть востребованы как индивидами, так и обществом – в первом случае человек как бы «подстраивает» их под себя, чтобы они соответствовали его прошлому. Публичные мифы формируют набор символов, образов, объяснений, руководств к действию и т.д., создавая тем самым систему метафор, оправданий и причинных зависимостей, которые используются в повседневной жизни, т.е. индивидуальные мифы не могут рассматриваться как полностью автономные, персональные конструкции. Это становится особенно очевидным в периоды войн и конфликтов, когда противоборствующие группы выстраивают свой метанарратив (собственную версию событий) как единственно истинный, «развенчивающий» метанарратив врага, представляющий его безликим, аморальным и иррациональным, и встраивают данный метанарратив в повседневную культуру, национальные и религиозные обряды, средства массовой информации и систему образования (так у палестинских и израильских детей формируется упрощенное понимание мира, развивается негативное отношение к «другому» и уверенность в необходимости применения силы для подавления врага) [Бар-Он, Адван, 2004, с.43; Калекин-Фишман, 1997, с.84].

Относительная автономность индивидуальных мифов/нарративов объясняется двумя причинами: во-первых, они не могут существовать вне мифов неформальных групп (например, семьи); во-вторых, они могут значимо варьировать по отобранным фактам, интерпретациям, порядку и оценке событий и эпизодов при каждом следующем пересказе. Тем не менее, реальный жизненный материал, становясь предметом устной или письменной объективации, всегда оказывается вписанным в контекст авторитетной «большой» культуры. В этом смысле отсутствует принципиальная разница между простонародными и элитарными воспоминаниями: цель автора всегда − передать свой опыт, поэтому нарративы формируются ассоциативными связями эпизодов вне хронологической последовательности.

Для социологического анализа интерес представляет, в первую очередь, метафорическое «измерение» как конструирующих социальное прошлое метанарративов, так и моделирующих индивидуальный жизненный путь нарративов личного опыта. Вычленение риторических фигур в официальных идеологических и личных биографических текстах позволяет проецировать заложенные в них интерпретации прошлого на будущее в плане возможных стратегий действия. Для нарративного анализа в социологии особое значение имеет и оценка отражения в индивидуальном жизненном «проекте» устойчивых метанарративов той эпохи, в которую он стал возможен.

*Нарратив и дискурс*

Неоднозначность понятия «нарратив» усугубляется попытками отграничить его от еще более сложного и ускользающего от определения понятия «дискурс»[[13]](#footnote-13), «печально известного своей многозначностью даже в самой лингвистике, где он и появился» [Квадратура смысла…, 2002, с.124]. Лингвистико-энциклопедический словарь определяет дискурс как связный текст в совокупности с экстралингвистическим факторами; текст в событийном аспекте; речь как целенаправленное социальное действие, т.е. речь, «погруженная в жизнь»[[14]](#footnote-14). Под дискурсом может пониматься: текст в различных его аспектах, связная речь (З.З. Харрис); актуализированный текст, в отличие от текста как формальной грамматической структуры (Т.А. ван Дейк); когерентный текст (И. Беллерт); текст, сконструированный говорящим для слушателя (Дж. Браун, Дж. Юл); результат процесса взаимодействия в социокультурном контексте (К.Л. Пайк); связная последовательность речевых актов в коммуникативно-прагматическом контексте (И.П. Сусов, Н.Д. Арутюнова); единство, реализующееся в виде устной или письменной речи (В. В. Богданов); рассуждение с целью обнаружения истины (Ю. Хабермас) [Трубина, 2002]; совокупность письменных и устных текстов, которые производят люди в разнообразных ежедневных практиках, ставшая самостоятельным смысловым полем, некой реальностью [Филлипс, Йоргенсен, 2004, с.10].

Формулирование четкого определения дискурса осложняет наличие множества классификаций видов дискурса и неоднозначность трактовок даже отдельных его «разновидностей». Например, Ц. Тодоров отмечает, что не существует устойчивого определения даже литературного дискурса – здесь возможны два подхода: 1) отличительная особенность литературного дискурса состоит в том, что составляющие его предложения не являются ни истинными, ни ложными, но создают представление о вымышленной действительности; однако не всякая литература является вымыслом (например, лирическая поэзия), и не всякий вымысел является литературой (например, миф); 2) отличительной чертой литературного дискурса, благодаря его систематичности, является самоценность сообщения; но организованность отличает всякий дискурс, а язык романа, например, не может восприниматься только «ради него самого» – иными словами, данные «особенности» литературных произведений можно встретить и вне таковых [Тодоров, 1983].

С точки зрения дискурс-анализа, термин «дискурс», по П. Серио, может обозначать: любое конкретное высказывание; высказывание в глобальном смысле – последовательность единичных фраз; воздействие высказывания на получателя; беседу; систему ограничений, которые накладываются на совокупность высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции («феминистский дискурс», «административный дискурс») и т.д. [Квадратура смысла…, 2002, с.26-27]. Соответственно, под дискурсом в социологии чаще понимается не эмпирический объект анализа, а теоретический конструкт на грани лингвистики (акты высказывания) и идеологии (институциональные рамки, ограничивающие акты высказывания): «дискурс соткан из языка, но выходит за рамки чисто лингвистической проблематики … смысл в рамках дискурса существует только в тесной связи с историей» [с.126].

Сегодня в западной научной традиции доминирует определение дискурса как формы власти и контроля [Suchan, 2004, p.312], т.е. существование любых объектов и феноменов зависит от дискурсивных актов конструирования социальной реальности – дифференциации, фиксации, называния, «наклеивания ярлыков», классификации и отнесения. Посредством дискурсивных актов из «потока феноменологического опыта» отбираются и идентифицируются феномены, благодаря чему мы можем говорить о них как о естественно существующих социальных образованиях. Например, слово «организация» не обозначает некую экстралингвистическую реальность – это «концептуализированная абстракция, которую мы воспринимаем как независимо существующую «вещь» благодаря механизмам габитуализации» [Chia, 2000, p.514]. Дискурс создает ощущение стабильности, порядка и предсказуемости окружающего мира посредством языка, регулирующего и рутинизирующего социальные обмены, формирующего и институционализирующего поведенческие коды, правила, процедуры и практики, – дискурс перформативен, поскольку конституирует социальный мир.

По мнению Т.А. ван Дейка [Van Dijk, 1998], понятие дискурса так же расплывчато, как понятия языка, общества, идеологии, однако именно с трудом поддающиеся определению понятия часто становятся весьма популярными. Ван Дейк предлагает два определения дискурса: в широком смысле дискурс – это комплексное коммуникативное событие, происходящее между говорящим и слушающим в определенном пространственно-временном контексте; в узком – это текст или разговор, вербальная составляющая коммуникативного действия, его завершенный или продолжающийся «продукт». Ван Дейк также разводит понятия текста и дискурса: текст – это абстрактная грамматическая структура произнесенного (понятие в системе языка или формальных лингвистических правил); дискурс – актуально произнесенный текст (понятие в системе речи). Наиболее общее определение дискурса трактует его как социально обусловленную организацию системы речи или как совокупность принципов репрезентации реальности. Тогда нарратив – это сюжетно-повествовательная взаимосвязь социальной формы жизни и индивидуального бытия, отражающая основные характеристики доминирующего дискурса.

В социологии отличие нарратива от дискурса видится в способности первого переходить из одной языковой среды в другую без существенных изменений и потерь смыслов, поскольку нарратив подразумевает подробное, детальное описание событий. Различие между дискурсом и нарративом состоит в их грамматических свойствах и связано с ролью говорящего субъекта – является ли он воспринимающим или творящим: «субъективность» дискурса обусловлена явным или неявным присутствием «Я», которое выступает гарантом речи, поддерживает и создает реальность; «объективность» нарратива выражается в отсутствии отсылок к повествователю – фабула, привносимая субъектом, не нужна, так как события как будто хронологически записываются «сами», по мере их появления в истории [Трубина, 2002]. Другим принципиальным моментом различия нарратива и дискурса является их темпоральная организация: нарратив включает в себя прошлое и настоящее, дискурс исключает прошедшее и концентрируется только на сиюминутном моменте создания текста, т.е. момент дискурса, момент речи и излагаемые события в дискурсе совпадают [Трубина, 2002; Manfred, 2002].

Элементы сходства нарратива и дискурса можно обнаружить в их структуре как совокупности трех различных, но взаимосвязанных компонентов [Grosz, Snider, 1986]: последовательности фраз (лингвистическая структура), интенции (релевантность целей выстраивания последовательности фраз) и фокуса внимания участников языковой практики. Понятия нарратива и дискурса оказываются близки и с точки зрения принципов аналитической работы с ними. Например, функционально-лингвистическое течение в анализе дискурса предполагает изучение динамического характера процессов конструирования смыслов говорящим/пишущим и их интерпретации слушающим/читающим с учетом влияния контекста повествования (референций, пресуппозиций, умозаключений), контекста ситуации, темы и знания мира («фреймов», сценариев). Структурный анализ нарративов (выделение инвариантных элементов нарративного эпизода) аналогичен поиску макроструктуры текстов, или «глобальной схематичной формы» дискурса, позволяющей различать дискурсивные жанры, – ван Дейк обозначает ее понятием «схемата». Так, например, «схемата» газетной статьи включает в себя резюме и фабулу; фабула содержит описание ситуации и комментарии, ситуация – описание эпизода и фона, эпизод – описание основных событий и их последствий, фон – описание контекста (условий) и предыстории.

Общей проблемой для дискурса и нарратива является соотношение между тем, что человек знает, и тем, что он может сказать (используемые респондентами языковые и логические конструкты могут скрывать истинное положение дел), поэтому «задача истолкования <соблазн текстовой интерпретации> – устранить видимости, разрушить игру явного дискурса и затем вызволить смысл, восстановив связь со скрытым дискурсом» [Бодрийяр, 2000, с.105]. Так, изучение способов конструирования этнической идентичности показало, что главные различия нарративов (презентаций идентичности) обусловлены их формированием в разных дискурсах [Бредникова, 1997, с.73]: рассказ об этнической идентичности, основанный на «коллективной памяти», располагается в дискурсе общественной справедливости (принадлежность к привилегированной или депривированной этнической группе); идентичность, возводимая на «семейной памяти», разворачивается в дискурсе престижа (этническая «инаковость» определяется как личная ценность, альтернативная позиция в социальном пространстве).

Н.Н. Козлова и И.И. Сандомирская трактуют соотношение понятий дискурса и индивидуального нарратива таким образом: категории «Большого научного дискурса» – Власть, Изменение, Вера, Гнет, Репрессия, Любовь, Страсть и т.д. – получают свои жизненные воплощения в нарративах личного опыта [1996, с.15]. И. Сандомирская [2004], рассматривая метафорический потенциал понятия «Родина» и производных от него, выделяет в дискурсе «единства народа» определенные сюжетные линии (метанарративы) и «персонажей дискурса» («перекати-поле», «изгнанник родины»), образ которых становится сценарной основой для конструирования индивидуального нарратива эмигранта.

Ф. Анкерсмит оперирует понятием «нарративный дискурс»: нарративность характеризует возможность разбить повествование на ряд эпизодов (определенные последовательности событий или действий), а дискурс обозначает наличие единой тематической линии, которая объединяет все эпизоды повествования, несмотря на их различия в плане поведенческих паттернов, базовой информации, типов описаний и перспектив и т.д. «Нарративный дискурс» противопоставляется дедуктивному рассуждению, в котором заключение никогда не содержит больше, чем его посылки: нарративный дискурс включает в себя все высказывания на своем пути до тех пор, пока их множество не становится настолько сложным, что его общее содержание уже нельзя свести к сумме отдельных высказываний [Анкерсмит, 2003, с.196].

Если суммировать все вышесказанное в контексте прикладного социологического анализа, то можно выстроить следующую последовательность понятий по степени снижения «теоретичности»/возрастания «эмпиричности»: дискурс – метанарратив – нарратив. Индивидуальное (авто)биографическое повествование всегда отражает основные характеристики доминирующего дискурса (например, идеологемы патерналистского советского государства) через встраивание в нарратив циркулирующих в обществе метанарративов данного дискурса (например, престиж карьеры простого рабочего, честного труженика).

*Классификация и функции нарративов*

Мнения исследователей расходятся в отношении оснований классификации как самих нарративов, так и выполняемых ими функций. По мнению П. Томпсона, жанровая классификация нарративов личного опыта, аналогичная «устной литературе» (фольклору), в принципе невозможна. Он выделяет четыре основных фольклорных жанра: групповую легенду, индивидуальный анекдот, семейную сагу и народную сказку (существует международный классификационный перечень сказок, что позволяет архивистам по всему миру определять, что за сказка у них хранится, чем она отличается от базовой версии и что повлияло на эти отличия) [Томпсон, 2003, с.168]. Тем не менее, Дж. Манфред предлагает следующую *жанровую классификацию нарративов*: нарративы индивидуального опыта; библейские нарративы; нарративы преподавателей; нарративы детей; нарративы врачей; семейные нарративы; судебные/юридические нарративы; историографические автобиографии; музыкальные нарративы; кинематографические нарративы; ментальные нарративы [Manfred, 2002].

Иная «жанровая классификация» разделяет нарративы на обыденные (события происходят снова и снова, в действии нет кульминации); гипотетические (описываются события, которые не произошли в действительности) и нарративы, сосредоточенные вокруг темы (зарисовки прошедших событий, связанные между собой тематически) [Ярская-Смирнова, 1997]. Х. Уайт классифицирует нарративы на прагматичные, условные, психологические, этические, разведывательные, дидактические и дискурсивные [Croissant, 2003, p.467]. Для политической истории характерны аналитические нарративы, которые «объединяют в себе аналитические техники экономической и политической науки с нарративной формой, используемой в истории» [Bates et al, 1998, p.10; McLean, 2003]. Для социологии значимы такие формы нарративов, как повседневные разговоры, автобиографии, биографические описания, «культурно детерминированная история», коллективная история [Richardson, 1990]. По мнению Ф. Анкерсмита, прототипом всех нарративных жанров является «исторический язык» [2003а, с.22]: только после того как люди научились говорить о своем личном или коллективном прошлом стали возможны, миф, поэзия и художественная литература, потому что наше собственное прошлое – наиболее удобная матрица для обретения способности упорядочивать высказывания о реальности.

С точки зрения организации прошлого опыта нарратив может выполнять следующие *функции*: упорядочивающую, информирующую, убеждающую, развлекающую, отвлекающую внимание, трансформирующую и темпоральную [Трубина, 2002]. *Трансформирующая функция* нарратива состоит в том, что он задает модели переописания реальности – акцентирует одни события и замалчивает другие «неуклюжие вопросы». В интересах связности, полноты и живости нарратив предлагает больше информации, чем строго необходимо для выражения смысла, – в итоге разрозненные события объединяются в одну означающую структуру [Сыров]. *Темпоральная функция* нарратива выражается в том, что, выделяя различные моменты во времени и устанавливая связь между ними, в частности, намекая на финал уже в начале истории, нарратив вносит «человеческие» смыслы в течение времени и позволяет понять значение самих временн*ы*х последовательностей. Время в нарративе выполняет двойную функцию [Franzosi, 1998, p.528]: «во-первых, является одним из средств репрезентации (языка); во-вторых, конституирует репрезентируемый объект (события истории)», включая в себя три аспекта – порядок (когда?), длительность (как долго?) и частоту (как часто?)».

Темпоральная функция нарратива соотносится с литературоведческой формально-содержательной категорией *хронотопа*, обозначающей «слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом» [Бахтин, 2000, с.9]: нарратив личного опыта всегда содержит указания на социальное время и пространство как детерминанты личного времени и пространства. В любом повествовании наиболее хронотипичны образы людей и  описания встреч. Мотив встречи может иметь различные эмоционально-ценностные оттенки (встреча может быть желанной или нежеланной, радостной или грустной, даже амбивалентной), получать различные словесные выражения и метафорическое значение символа, выполнять композиционные функции (завязки, кульминации или финала сюжета), быть тесно связанным с мотивами разлуки, бегства, обретения, потери, узнавания–неузнавания при встрече, актуализировать бремя прожитых лет и т.д.

Автобиографические и биографические повествования редко развертываются в биографическом времени в строгом смысле, в них чаще изображены исключительные моменты – кратковременные, но определяющие образ человека и характер его последующей жизни: «в бытовом омуте частной жизни время лишено единства и целостности, раздроблено на отдельные отрезки, охватывающие единичные эпизоды, законченные, но изолированные» [с.56]. Кроме того, автор нарратива всегда композиционно разбивает его на части, благодаря чему не только рассказ, но и изображенное в нем событие имеет начало и конец. Однако «эти начала и концы лежат в разных хронотопах, которые никогда не могут слиться или отождествиться и которые в то же время соотнесены и непрерывно связаны друг с другом: перед нами всегда два события – событие, о котором рассказано, и событие самого рассказывания … автор свободно движется в своем времени: может начать рассказ с конца, с середины и с любого момента изображаемых событий, не разрушая при этом объективного хода времени в изображенном событии» [Бахтин, 2000, с.189-191].

Иная классификация функций нарратива строится на основе прагматических характеристик повествования [Веселова]: 1) *социальные функции* – идентификационная (рассказчик идентифицирует себя как члена определенного социума), репрезентативная (взаимное самопредставление рассказчиков в ситуации знакомства), дидактическая (рассказчик как член социума обучает «новичков» общей этике и системе ценностей), регулятивная и ориентационная (ценности общества проецируются через событие-медиатор на социальное пространство); 2) *психологические функции* – психотерапевтическая («совместное обдумывание» и «сравнение опыта» в критической ситуации) и прогностическая (слухи, толки); 3) *коммуникативные функции* – развлекательная, или фатическая, и информационная.

Важнейшей функцией нарратива является *«самопредъявление» рассказчика*, хотя актуальные цели самопрезентации, действие защитных механизмов психики, стремление соответствовать образцам социальной желательности и т.д. приводят к значительным искажениям повествования. Ключевая идея нарративного подхода состоит в том, что идентичность, «Я», – «не фиксирована и не автономна, а эволюционирует в форме незаконченной истории, мы понимаем и конструируем себя как нарратив, чтобы объяснить себе самих себя» [Rossiter, 1990, p.62]. По мнению Э. Гидденса, «идентичность человека невозможно определить по его поведению или – хотя это очень важно – по реакциям других людей, но только по его способности поддерживать определенный жизненный нарратив» [Groarke, 2002, p.572]. Посредством повествования человек объединяет разрозненные жизненные события в определенную последовательность и систему отношений, представляя свою жизнь как развивающийся процесс. В зависимости от оценки данного развития «Я-нарратив» может быть стабильным, прогрессивным или регрессивным [Робертс, 2004, с.9].

В целом нарратив «функционирует» как структура познания и восприятия; как способ понимания себя, других и внешнего мира в их взаимосвязи; как метод встраивания в социокультурную реальность и как обучающий опыт.

***Проблематичность определения***

***понятия «нарративный анализ»***

В основе современного нарративного анализа лежат сформулированные в начале ХХ века В. Проппом и Б. Томашевским принципы структурного рассмотрения текста, объединенные понятием *«сюжетный анализ»* [Franzosi, 1998, p.523]. Изучение интерпретационных, а не информационных возможностей текста происходит в сюжетном анализе через противопоставление фабулы и сюжета: фабула играет роль материала, лежащего в основе произведения, и представляет собой перечень основных событий в их естественной логической и хронологической последовательности с подробным описанием действующих лиц; сюжет выполняет функцию специфической аранжировки, «реального развертывания» материала, организации и связи событий в той последовательности, в которой они представлены в тексте (именно так читатель узнает о действии). Противопоставление диспозиции материала и его сюжетной композиции помогает понять «целесообразность, осмысленность и направленность, казалось бы, бессмысленной и путаной сюжетной кривой».

Хронологический порядок событий, или фабула, позволяет отличать нарративные тексты от ненарративных, отражая изменение ситуации через развертывание специфической последовательности событий. Однако не любая последовательность двух рядоположенных во времени событий есть нарратив. Например, предложения «Джон улетел в пять часов вечера» и «Питер уехал в аэропорт в восемь часов вечера» могут создать историю только в том случае, если их логическую взаимосвязь обозначит третье предложение – «они хотели провести выходные вместе». Временная организация событий – необходимое, но недостаточное условие для формирования истории/фабулы. Событийная канва повествования должна отражать нарушение первоначального состояния равновесия, изменение ситуации качественно или просто во времени, т.е. элементы нарратива должны быть связаны не только временн*ы*ми, но и трансформационными отношениями. Соответственно, можно разделить события нарратива на основные (определяют положение дел), и сопутствующие им. Хотя это разделение относительно: то, что кажется основным одному автору, оказывается второстепенным для другого, и наоборот.

Известный своими нарратологическими изысканиями лингвист В. Лабов утверждает, что нарративный анализ возник как «побочный продукт» его социолингвистического исследования афро-американского диалекта в Южном Гарлеме [Labov, 1997]. В рамках этого исследования он определяет нарратив как совокупность специфических лингвистических средств, превращающих сырой прошлый опыт в хронологически упорядоченные, эмоционально и социально оформленные события. Таким образом, нарратив – это «метод описания прошлого опыта посредством выражения в последовательности предложений хода событий, которые (это подразумевается) произошли в действительности» [Labov, Waletzky, 1997]. Хотя без нарративных предложений не существует нарратива, не все предложения нарратива являются нарративными: в нарративном эпизоде «(а) Я знаю мальчика по имени Гарри; (б) Другой мальчик запустил ему бутылкой в голову (в) и ему наложили семь швов» предложения (б) и (в) являются нарративными, а предложение (а) – «свободным», не имеющим темпорального компонента. Его можно переставлять, не изменяя смысла нарративного эпизода, тогда как любая перестановка нарративных предложений изменит смысл текста: «Я ударил мальчика / и он ударил меня» и «Мальчик ударил меня / и я ударил его» [Анкерсмит, 2003а, с.278].

Основными понятиями нарративного анализа, по Лабову, являются: 1) «информационная значимость» (повествование должно заинтересовать аудиторию, чтобы оправдать свое возникновение); 2) «кредит доверия» (степень уверенности аудитории в том, что события произошли именно так, как их описывает рассказчик) – чем выше информационная значимость, тем меньше кредит доверия (чем более знакомыми оказываются события для аудитории, тем меньше она доверяет рассказчику); 3) «каузальность» (выбор причин и следствий в потоке событий); 4) «одобрение или неодобрение» аудиторией видения мира рассказчиком; 5) «объективность» (выражение эмоций или наблюдение материальных объектов и событий) [Labov, 1997].

В целом исследователи относят нарративный анализ к *интерпретативной парадигме* социального знания, в рамках которой вербальные, устные или письменно зафиксированные, выражения индивидуального смысла рассматриваются как «окна» во внутренний мир человека – как стекло фильтрует наше восприятие, так «озвучивание» затрудняет однозначное истолкование наблюдаемых явлений, интенций или смыслов [Ярская-Смирнова, 1997а]. «Интерпретативный поворот» в методологии социальных наук признал недостаточность естественнонаучных методов и теоретических предпосылок для понимания социальной жизни и «семантизировал» их исследовательское поле [Свидерский, 1994]. Текстовые объекты, обладая маркерами социальной принадлежности, становятся почти неотличимыми от реальности, поскольку являются субъектами социального воздействия, агентами преобразующих и структурирующих социальных практик. Интерпретативный подход к анализу текста предполагает, что его смысл – функция одновременно и укорененной в социальном опыте индивида когнитивной схемы, и той социальной ситуации, в условиях которой текст порождается и воспринимается. Значение текста не является чисто субъективным и ситуативным, поскольку структурируется контекстами: каждое слово является смысловым ограничением для других, а итоговый смысл фразы есть лишь некоторая совокупность трактовок, которая значительно меньше суммы значений всех входящих в нее слов (ситуация аналогично ограничивает спектр возможных прочтений предложения).

*Лингвистический анализ*

Понятие нарративного анализа было введено в научную терминологию несколько позже, чем обозначения иных, близких ему, типов анализа текстовых данных. Как вербальные, так и невербальные аспекты социального взаимодействия находятся в центре внимания лингвистического анализа: социолог делает детальные распечатки текста и представляет их читателю в первозданном виде с комментариями и наблюдениями относительно структуры, особенностей протекания и эмоциональной окрашенности беседы. В отличие от лингвистов, которые могут посвятить несколько томов обсуждению структуры и значения текста из четырех фраз, социологи рассматривают частное, особенное лишь как проявление всеобщего, универсального.

Лингвистический анализ текста и литературоведение, казалось бы, имеют общий объект исследования (текст), но объект первого значительно шире: он включает все произведения речи, а не только художественные. Лингвистический анализ идет от формы к содержанию – рассматривает все языковые элементы текста, устанавливает функцию плана выражения в формировании плана содержания, а не, как литературоведение, от содержания к форме – здесь изучается идейное содержание, эстетическая ценность, жанровая специфика, композиционная организация. Лингвист ограничивает свой анализ в большинстве случаев конкретным текстом (имманентный способ исследования), а литературовед проводит экскурсы философского, исторического, социального характера (проекционный метод); лингвист анализирует текст, прежде всего, с позиции читателя (адресата), литературовед – с позиций автора (адресанта) [Шевченко, 2003, с.4]. Уровни лингвистического анализа текста отражают основные разделы риторического канона: образно-языковой уровень – инвенции, структурно-композиционный – диспозиции, идейно-тематический – элокуции [с.6].

Основные *принципы лингвистического анализа* таковы: принцип историзма (учет языковой эпохи создания текста); принцип учета взаимообусловленности формы и содержания текста (его прагматической функции); принцип уровневого подхода; принцип координации общего и отдельного (учет взаимодействия общежанрового/языкового/стилистического и индивидуально-авторского).

*Методы и приемы лингвистического анализа* [Купина, 1980, с.16‑32]:

* метод стилистического эксперимента – подбор синонимов, сокращение/расширение текста, различные виды аранжировки текста (изменение позиции предложений, замена придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами и т.д.);
* семантико-стилистический метод – оценка отступлений от языковых правил, индивидуальной многозначности в конкретном тексте, наращивания смысловых элементов за счет многократного повторения слов/фраз (прием – сопоставление единиц текста с их значением в словарях);
* сопоставительно-стилистический метод – обнаружение сходства и различия в языковом оформлении текстов однотипного содержания;
* методы количественного анализа текста – выявив количественные закономерности (количество прилагательных, наречий и т.д.), можно определить качественное своеобразие языковых средств.

Целью лингвистического анализа может быть определение *регистра* – коммуникативного типа речи, формирующегося в зависимости от пространственно-временной позиции говорящего/пишущего и его отношения к сообщаемому. По степени абстрагирования говорящего от действительности выделяют три регистра: в репродуктивном/изобразительном регистре рассказчик воспроизводит непосредственно наблюдаемое в конкретной последовательности сменяемости действий («Я вижу/слышу/чувствую, как…»); информативный регистр предполагает знания о фактах, событиях, свойствах, полученные в результате неоднократного наблюдения или логических операций («Я знаю/понимаю, что…»); в генеритивном регистре говорящий обобщает информацию, соотнося ее с жизненным опытом и универсальным знанием, абстрагируясь от событийного времени и места (умозаключения, афоризмы, сентенции, пословицы) [Золотова, 1998, с.28-29]. Помимо трех названных регистров в диалогической речи возникают волюнтивный и реактивный регистры, не содержащие сообщения, а реализующие речевые интенции – адресованное потенциальному исполнителю волеизъявление («Выходи за меня замуж») и экспрессивно-оценочную реакцию на речевую ситуацию («Не пойду за гуляку»).

Применение лингвистического анализа в социологическом исследовании основано на таких характеристиках текста, как *информативность* и *модальность*. Содержательно-фактуальная информация сообщает о событиях и процессах и выражается в тематических группах (номинационных цепочках), главная из которых проходит через весь текст (главная тема). Авторский замысел формируется сочетанием трех компонентов [Шевченко, 2003, с.27-35]:

1. Содержательно-концептуальная информация показывает индивидуально-авторское видение отношений и причинно-следственных связей явлений, доступна пониманию лишь в объеме целого текста и не всегда выражена достаточно ясно, что дает возможность разных толкований.
2. Содержательно-подтекстовая информация извлекается из текста благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и коннотативные значения. Для понимания данной информации анализируются используемые в тексте пресуппозиции (подразумеваемые еще до начала передачи речевой информации компоненты смысла), символы, импликации (пропуски в выражении содержания, умолчания), контрапункты (ведущие и фоновые линии повествования), повторы (многословные конструкции), обобщения («и так всегда»), примеры («возьмем, например, моего соседа»), усиления субъективной информации («просто кошмар, что…»), исправления собственных высказываний (свидетельство стремления создать ложную картину событий), смягчения негативных высказываний («среди них попадаются и хорошие специалисты, но…»), уклонения от однозначных оценок (могут говорить об отсутствии релевантной информации или о нежелании высказываться по данному поводу).
3. Модальность – отношение говорящего/пишущего к действительности, которое может быть выражено грамматическими, лексическими, фразеологическими, интонационными, композиционными, стилистическими средствами; объективная модальность – отношение сообщаемого к действительности, субъективная – отношение говорящего к сообщаемому.

Лингвистический анализ текста может быть частичным или комплексным: в первом случае предполагается анализ одной стороны или части текста (категорий времени и пространства, способов членения текста, тональности, средств выражения авторского замысла и т.д.); во втором – анализ всего текста, всех текстообразующих факторов и текстовых категорий (информативности, членения, связности, интеграции и завершенности).

*Конверсационный анализ*

Как и нарративный анализ, конверсационный анализ,или анализ разговоров, основывается на методологических принципах интерпретативной парадигмы и конструктивистском видении реальности, Он направлен на изучение структур и формальных свойств языка, рассматриваемого с точки зрения социальных практик и ожиданий, на основе которых собеседники организуют свое поведение и интерпретируют поведение другого [Исупова, 2002, с.35]. Вклад каждого участника разговора в интеракцию контекстуально ориентирован: *локальный контекст* представляет собой непосредственно предшествующую реплике конфигурацию действий (высказываний); *институциональный контекст* включает в себя совокупность привычных практик конструирования разговора на определенную тему в конкретной ситуации.

Хотя акцент в конверсационном анализе сделан на исследовании способов организации разговорного общения в разных средах, участники разговоров также определяются как нарраторы (рассказчики) и считаются экспертами, более компетентными в области собственного повседневного опыта, чем кто-либо, включая социологов. В отличие от нарративов личного опыта, в большинстве повседневных разговоров число сообщаемых фактов обычно невелико (90% разговора составляют бесконечные вариации на давно известные его участникам темы, дающие фактам новое «иллюстративное» применение), однако в обоих случаях факты упоминаются не для информирования, а чтобы сформировать перспективу восприятия реальности [Анкерсмит, 2003а, с.199].

Вышеизложенные положения обуславливают следующие особенности конверсационного анализа: 1) он базируется на эмпирии без привлечения заранее сформулированных гипотез; 2) мельчайшие детали текста здесь рассматриваются как аналитический ресурс, а не как помеха (например, обилие многоточий, прерывающих диалог, может говорить о том, что в нем участвуют мужчина и женщина, или манифестировать некоторую растерянность одного/обоих участников); 3) упорядоченность естественной речи, имеющая социальный смысл, признается очевидной не только для исследователей, но и, прежде всего, для конструирующих её людей [Исупова, 2002, с.37]. Например, «гендерный анализ имеет смысл только в том случае, если гендерные различия имеют смысл для самих участников разговора» [Tracy, 1998, p.15], если участники интеракции демонстративно на них ориентированы, т.е. «гендер – это не то, что говорящие «имеют», а то, что они «создают» [Stokoe, Weatherall, 2002, p.707].

*Дискурс-анализ*

Содержательно и с точки зрения аналитических подходов нарративный анализ близок такому междисциплинарному полю исследований на стыке лингвистики, социологии, психологии, этнографии, стилистики и философии, как дискурс-анализ. Данное понятие включает в себя целый ряд направлений аналитической работы с текстовыми данными, различающихся фокусом исследовательского интереса – это может быть и процесс обмена символами во время беседы, и структуры памяти и понимания, и процесс выработки языка науки, и социальное влияние изучаемых институтов и групп и т.д. *Основной постулат* дискурс-анализа – отказ от разделения формы и содержания: социальная реальность конструируется лингвистически, поэтому для ее понимания необходимо изучать «социальные тексты». Однако они репрезентируют не столько саму реальность, сколько способ ее видения и описания индивидами. Любой текст – это «индивидуальная версия события или явления, которая имеет законные права на существование для индивида» [Дмитриева, 1998, с.91].

Чтобы представить целостность текста и его единство с внеязыковой действительностью, культурой и личностью, дискурс-анализ рассматривает текст в следующих терминах: *регистр* (выбор языковых средств в зависимости от социальных условий общения), *когезия* (средства связи между элементами текста в поверхностной структуре) и *когерентность* (логическая и смысловая связность элементов текста) [Урубкова, 2003]. Кроме того, дискурс-анализ акцентирует различие устного и письменного дискурсов как альтернативных форм существования языка. Во-первых, в отличие от письменного дискурса, в устном дискурсе порождение и понимание «текста» происходит синхронизированно, что приводит к фрагментации речи на завершенные интонационные единицы. Во-вторых, пространственно-временной контакт между коммуникантами в устном дискурсе вовлекает их в ситуацию взаимодействия, а его отсутствие в письменном дискурсе приводит к отстранению коммуникантов от передаваемой информации.

К традиционным версиям дискурс-анализа относят концепции М. Фуко и Т. ван Дейка. М. Фуко выделяет в дискурсе четыре измерения, или «дискурсивные формации»: объекты, модальность, концепты и тематическое единство. Соответственно, дискурс-анализ позволяет оценить (1) возможность появления определенных объектов в поле дискурса, (2) модальность высказываний субъекта (кто, где и относительно каких групп объектов может осуществлять подобные высказывания), (3) возможность появления концептов в определенном образом упорядоченном поле высказывания, (4) стратегии выбора тем и теорий [1996, с.40]. По мнению Фуко, дискурс способен подчинять и контролировать благодаря внешним и внутренним процедурам [1996а, с.52,65]. К первым относятся процедуры исключения – запреты, оценка безумия/бессмысленности дискурса и воля к истине (институциональная поддержка дискурса); ко вторым – процедуры классификации и упорядочивания (комментарии, принцип авторства и дисциплина).

Вариант дискурс-анализа, предложенный Т. ван Дейком [1989], основан на признании детерминации познания человека глубинными концептуальными структурами его личностной картины мира, т.е. даже рассказывая об объективных событиях, человек неизбежно и неосознанно воспроизводит собственную интерпретацию произошедшего. Базу личностной картины мира составляет модель ситуации, содержательное наполнение структурных элементов которой (время, место, контекст, действия, участники, причины, цели, последствия, категории оценки) может значительно варьировать, что позволяет человеку понимать разные тексты. Дискурс-анализ в данном случае предполагает извлечение из текста всех релевантных априорно заданной исследователем ситуационной модели смысловых блоков и фрагментов, их сравнение и обобщение в систему категорий, которые суммируют идеологическую позицию автора. Методика анализа такова: в рассказе выделяется суперструктура (повествовательная схема доказательства); затем в ней определяются макроструктуры (например, заглавия, «резюме») – по сути, это достаточно стереотипные тематические репертуары, ограниченные коммуникативным, культурным контекстом, поло-возрастными, ролевыми и личностными особенностями автора [с.45-60]. Таким образом, ван Дейк предлагает «лингвистическую» трактовку дискурса как структурирующего принципа коммуникативного/диалогового взаимодействия, а Фуко – «социологическую» версию дискурса как идеологически обусловленного стиля/способа «говорения».

«Традиционный» дискурс-анализ, разработанный Фуко, в последние годы подвергается критике по следующим позициям [Reed, 2000, p.525-527]:

* «Радикальный онтологический конструктивизм»: существование реальности рассматривается как литературно «оговоренное и текстуализированное» (нет ничего кроме дискурса), т.е. идеализируется понятие значения, а несемантические аспекты реальности отбрасываются на периферию научного анализа.
* «Номиналистские формы концептуализации и объяснения»: конститутивные компоненты дискурсивных практик (концепты, модели и теории) признаются удобными «именами» или «фикциями», определенным образом репрезентирующими мир. Однако любая форма интерпретации/объяснения относительна и зависит от того контекста, в котором возникает и репродуцируется в качестве «знания».
* «Подспудный детерминизм»: функционирование дискурсов в обществе рассматривается как в значительной степени автономное и независимое от людей. Но тогда возникает проблема объяснения активно действующих субъектов, которые могут «играть» с дискурсами и практиками, особенно в контексте несимметричных властных отношений.
* «Локализм»: дискурсы считаются тактическими элементами локальных властных взаимоотношений, конституируемых посредством ситуационных договоренностей, т.е. серьезно недооценивается структурный характер устойчивых властных иерархий.
* «Редукция изучения идеологий к анализу дискурса»: недооценивается важность тех политических и культурных процессов, которые формируют, выражают и воспроизводят господствующие идеологии в социальных практиках, иных чем «речь» и «текст» (например, расистские идеологии легитимируют себя и посредством недискурсивных форм дискриминации − ритуалов физического и пространственного исключения). Идеологическая социализация действительно происходит через усвоение определенного дискурса, но её нельзя рассматривать вне более широкого социального, политического и исторического контекста, институционализирующего дискурс как источник социальных значений и контроля.

В качестве альтернативы предлагается более «реалистичный» вариант дискурс-анализа, в котором дискурс понимается как посредник социальных действий и конститутивных свойств социальной реальности, диктующий положение акторов в матрице социальных отношений и лингвистических правил, которые позволяют обозначить, кто они и что могут делать. Акторы могут добиться реинтерпретации доминирующих дискурсов, но все инициируемые субъектами тактические и стратегические изменения происходят в рамках предшествующей структуры материальных, социальных и дискурсивных отношений, которую нельзя игнорировать.

С точки зрения развития нарративной проблематики в социологии интерес представляет вариант дискурс-анализа, разработанный Р. Бартом и основанный на понятии мифа[[15]](#footnote-15) как «слова, коммуникативной системы, некоторого сообщения, формы, способа обозначения, которые заключены в исторические рамки, подчинены условиям применения и наполнены социальным содержанием», т.е. мифом может стать все, что покрывается дискурсом, «ведь никакой закон, ни природный, ни иной, не запрещает нам говорить о чем угодно» [2000, с.234]. Следуя рассуждениям Барта, дерево – это дерево, но дерево в рассказе человека о своем детстве может стать совершенно особенным, нагруженным положительными и отрицательными воспоминаниями и ассоциациями, «одним словом, к его чистой материальности прибавляется определенное социальное применение».

Распознаванием (чтением) и анализом (дешифровкой) мифов, по Барту, должна заниматься семиология, «наука о знаках и знаковости», в которой постулируется соотношение двух элементов – означающего (букет роз) и означаемого (любовь), соединяющее разнопорядковые объекты отношениями эквивалентности и результирующее в знаке (букет роз – знак любви). Между означающим, означаемым и знаком существуют тесные функциональные зависимости (подобные отношениям части и целого), которые гарантируют знаку постоянство формы в разных вариантах его реализации.

В мифе имеется две семиологические системы: 1) лингвистическая – система естественного языка; 2) собственно миф, или метаязык, в котором означающее может быть итоговым членом системы языка (смыслом) или исходным членом системы мифа (формой – результат удаления из смысла всего случайного); соотношение означающего и означаемого формирует значение (в системе естественного языка это знак). В качестве примера Барт приводит изображение «салютующего французскому флагу негра» как символ «французской имперскости». «В качестве формы негр-солдат обладает лишь куцым, изолированным, обедненным смыслом, зато в качестве «французской имперскости» он вновь обретает связь с великой Историей Франции, с ее колониальными авантюрами, с ее теперешними трудностями, но в понятие влагается не столько сама реальность, сколько известное представление о ней; превращаясь из смысла в форму, образ во многом теряет содержавшиеся в нем знания, чтобы наполниться теми, что содержатся в понятии» [Барт, 2000, с.244].

Основополагающая черта мифического понятия – его адресность: чтобы символ был идентифицирован, «французская имперскость» должна тронуть определенную категорию читателей. Одно означаемое может иметь несколько означающих: можно найти тысячу образов, обозначающих «французскую имперскость (мифические понятия не обладают устойчивостью, поскольку историчны)». Но именно повторяемость понятия, проходящего через разные формы, позволяет семиологу расшифровать миф – точно так же повторяемость поступка или переживания выдает скрытую в нем интенцию.

Предлагаемые Бартом особенности и параметры работы с мифами вполне применимы и в рамках нарративного анализа [с.247-281]:

* Функция мифа – не прятать, а деформировать; смысл мифа деформируется его понятием: «солдат-негр» лишается собственной истории, превращается в жест «французской имперскости». Но деформируемое не устраняется совсем – «солдат-негр» нужен понятию, он лишен памяти, но не существования. *Нарратив личного опыта может «подгоняться» под форму определенного культурного сценария − в этом случае человек во многом «лишается» собственной истории, трансформируя ее в узнаваемый «сюжет».*
* В мифе интенция важнее буквального смысла, хотя ее внушение осуществляется как констатация такового. *Структура и содержание нарратива определяются интенцией рассказчика.*
* Миф обладает императивностью отклика: исходя из некоторого понятия («французская империя»), в текущих обстоятельствах (салютующий солдат-негр) он обращает к человеку интенциональную силу (приглашение усмотреть в нем жест «французской имперскости»). *Интенция нарратора во многом определяет восприятие и оценку структуры и содержания нарратива его читателями/слушателями.*
* В мифе значение всегда мотивировано частично, фрагментарно, поскольку одна мотивировка выбирается из множества возможных (для «французской имперскости» можно найти много означающих). *Значение нарратива, усматриваемое его читателем/слушателем – только одно из множества возможных, также как данный нарратив – только одна из возможных форм выражения усматриваемого в нем смысла.*
* Возможно несколько прочтений мифа:
  + статико-аналитический циничный взгляд производителя мифа (газетчика), разрушающий миф путем открытого осознания его интенции – означающее пусто, значение буквально (салютующий негр – символ «французской имперскости»);
  + статико-аналитический демистифицирующий взгляд (семиолога) – означающее полно, смысл деформируется под влиянием формы, значение мифа воспринимается как обман (салютующий негр – алиби «французской имперскости»);
  + динамический взгляд простого читателя – означающее выступает как целостная неразличимость смысла и формы, значение двусмысленно («французская имперскость» непосредственно присутствует в отдающем честь негре), миф усваивается согласно его собственной структурной установке.

*Нарративы можно «цинично» интерпретировать с точки зрения интенций рассказчика, разоблачать попытки информанта «мистифицировать» собственную жизнь с помощью метафоры сценария или же пытаться понять логику структурирования нарратива – как соотносятся фабула и сюжет повествования.*

* Задача мифа – «преобразовать историческую интенцию в природу, преходящее – в вечное»; миф делает все окружающее не объясненным, а констатированным (стоит только констатировать «французскую имперскость», как она оказывается чем-то само собой разумеющимся), отменяет сложность человеческих поступков, создает чувство блаженной ясности, тем самым осуществляя умственную экономию, позволяя постигать реальность по более дешевой цене (поэтому в мифе важна применимость, а не истинность). *С помощью нарративов человек «упрощает» и схематизирует собственную жизнь, раскладывая ее на понятные ему повествования об отдельных событиях и/или жизненных этапах.*
* Миф – «деполитизированное» слово: если я дровосек и мне нужно назвать дерево, которое я рублю, то я высказываю в своей фразе само дерево (язык операторный, транзитивно связанный с объектом, род политического языка, в котором дерево – не образ, а смысл поступка). Если я не дровосек, то могу высказываться только по поводу дерева (вторичный язык создает не вещи, а лишь имена). *Нарратор оперирует транзитивным языком, конструируя собственную историю и самоидентичность; исследователь высказывается по поводу биографических повествований, «именуя» типовые стратегии жизненного пути.*

Итак, поскольку люди создают мир посредством дискурса (речи и текста), в фокусе дискурс-анализа оказывается «не сопоставление семантических систем и реальности, а изучение практик описания мира» [Edwards, 1997, p.45], выработка метода понимания продуктов речевой деятельности, в котором речь рассматривается не как данность, а как факт – «язык Адама, эта произносимая в одиночестве, лишенная памяти речь, есть миф» [Квадратура смысла…, 2002, с.197]. Социологический вариант дискурс-анализа сводится к изучению «связи между силовыми взаимодействиями и взаимодействиями смысла, присущими данной социальной структуре» [с.334]. Важно не столько «содержание» интервью, сколько сопоставление того, что человек говорит в рамках интервью, с тем, что он говорит и делает в других дискурсных ролях и ситуациях, а также описание (с помощью научного дискурса) формы деятельности данного субъекта как соответствующей определенной позиции. Применение «принципа различия» позволяет определить одновременно и доминирующий дискурсный процесс, и таящиеся в нем иные условия смыслопорождения.

Сегодня дискурс-анализ часто трактуется и как «качественный исследовательский подход» [Cheek, 2004, p.1140]. Дискурсивные фреймы определяют наше видение и высказывания о реальности. В конкретных социально-исторических условиях они неравноправны: одни доминируют и тем самым исключают другие в определении «правильных» практик. Соответственно, дискурс-анализ предполагает изучение не только содержания текстов с точки зрения их синтаксической, семантической и прочих структур, но и в плане способов их ситуативного конструирования – даже самые «естественные» слова не имеют универсального значения, а конвенциональны для конкретной ситуации взаимодействия. То есть задача дискурс-анализа как качественного социологического подхода – выявить скрытые, неочевидные основания текстовых значений, которые формируют сами рассматриваемые тексты. Ключевой дилеммой для исследователя здесь становится определение того, насколько далеко следует «отойти» от анализируемого текста, чтобы создать его контекстуализированную интерпретацию.

Таким образом, и дискурс-анализ, и нарративный анализ – не методы, а *неунифицированные подходы*, множественность которых требует от исследователя четко «артикулировать» параметры своего научного поиска (как минимум, интерпретировать понятия дискурса, текста, нарратива, темы и истории, которые часто используются как взаимозаменяемые). Предметом изучения в нарративном анализе является рассказанная история, или повествование, с точки зрения способов упорядочивания опыта в последовательную цепь событий. Нарративный анализ изучает не просто содержание жизненного опыта, а формы рассуждения о нем – лингвистические и культурные ресурсы построения истории и убеждения слушателя в ее подлинности [Ярская-Смирнова, 1997а]. В отличие от каузальной модели, ничего не говорящей об отношениях с «другим» в различных типах социокультурных ситуаций, нарративный анализ предполагает «вчувствование» социолога в жизненную ситуацию «другого» на основе собственных навыков эмпатии.

Изложенные выше характеристики нарративного анализа, казалось бы, позволяют определять его как совокупность методов анализа социобиографических данных специфической структуры. Однако это касается только теоретической интерпретации данного понятия, если же мы попробуем сформулировать его операциональное определение, оно окажется крайне неоднозначным: «Нарративный анализ – это анализ повествовательных конструктов жизненных историй с точки зрения представленности в последних социально-типичного (*определение биографического метода*); работа с материалами нарративных интервью (=*нарративный анализ?*) предполагает различные варианты дискурсивного анализа (*=нарративному анализу?*), в том числе секвенционный анализ (*прием лингвистического анализа*), в фокусе которого – логико-семантическая динамика повествования; в процессе анализа расшифровок (*нарратив = транскрипт интервью?*), черты дискурса (*характеристика дискурса – задача дискурс-анализа*) часто как бы «выпрыгивают», стимулированные теоретическими интересами социолога и структурами «пред»интерпретации» [Ярская-Смирнова, 1997].

Прояснение обозначенных затруднений в трактовке нарративного анализа требует рассмотрения его соотношения с биографическим методом, а также систематизации существующей на сегодняшний день практики использования нарративов личного опыта в эмпирических социологических исследованиях. Прежде чем приступить к решению этих задач, следует обозначить очевидные уже на уровне теоретической интерпретации познавательные возможности и ограничения нарративного анализа.

***Познавательные возможности***

***и ограничения нарративного анализа***

Первоначально социологи и историки, открывшие биографический материал как источник данных, считали его идеальным с точки зрения выяснения того, что существует или произошло на самом деле [Томпсон, 2003]. Сложившуюся позже ситуацию Й.П. Руус характеризует очень образно: первоначальная эйфория сменилась «грехопадением» – пониманием, что не существует ни одного вполне «невинного текста» (все тексты зависят от определенных объяснительных, концептуальных и текстуальных схем, в рамках которых они появились, а изложенные в них «факты» представляют собой лишь фигуры речи). За ним последовало «покаяние» – признание того, что, несмотря на проблематичность учета всех аспектов создания биографического текста, существует каузальный нарратив, соединяющий в единое целое разные события описываемой жизни. «Искупление» выразилось в анализе тех способов, с помощью которых социальные и культурные коды, или нарративные стратегии, воздействуют на автобиографию, – «рая истинных биографий» для науки больше не существует [Руус, 1997, с.7‑13]. Ф. Анкерсмит однозначно решил для себя проблему истинности (исторических) нарративов: нарративные интерпретации имеют природу предложений (это некая точка зрения на прошлое), а предложения не могут быть истинны или ложны – только полезны, плодотворны или наоборот [2003, с.122].

Проблема истинности нарратива не является лингвистической – она возникает, когда нарратив рассматривается как отражение социальной действительности: одни исследователи считают, что нарратив воспроизводит реальные события; другие полагают, что нарратив конституирует действительность – рассказывая, человек выделяет «реальные» события из потока сознания; третьи утверждают, что информанты неизбежно приукрашивают историю, привнося в нее свои интересы и ценности. Безусловно, одни и те же события предстают в разном свете в зависимости от ценностных приоритетов рассказчика: семиосоциолингвисты подсчитали, что собственно смысловую нагрузку несет не более 20% любого текста, все остальное – словесная мишура, либо не нужная вообще, либо выполняющая не смысловые функции. Ситуация осложняется тем, что прошлое – всегда *избирательная реконструкция*, из которой люди стремятся исключить опыт, угрожающий утверждаемой ими сегодня идентичности. Более того, отделить факт от вымысла практически невозможно, так как само представление факта предполагает определенную интерпретативную работу («вымысел»). Хотя, чтобы текст сохранял «сходство» с реальным миром, «вымысел» всегда содержит фактический компонент [Воробьева, 1999, с.96] – фактографическая канва нарратива соотносима с общезначимыми историческими событиями как определенными контрольными точками. К интерпретации («вымыслу») не применим критерий истинности/ложности, ибо «любая интерпретация имеет свое субъективное обоснование, и уже в силу этого обстоятельства истинна» [Божков, 2001, с.78].

Любой нарратив – эмоционально истинный вымысел: вымысел уже хотя бы потому, что риторически разбит на элементы – автор предлагает информацию в виде тематически организованного, логичного нарратива, в котором сглажены все неровности и отсутствует излишняя информация. Выверенная история о себе, написанная с учетом множества точек зрения (коллег, друзей, семьи и др.), была бы более «истинна», поскольку множественность перспектив снимает ситуативные ограничения авторских самоинтерпретаций, но далеко не каждый готов или способен написать подобную историю. Любой рассказчик считает каждый из своих нарративов истинным просто потому, что его самоописание кажется аутентичным ему самому сегодняшнему.

Для нарративного анализа установление исторической «истинности» индивидуального объяснения не является главной задачей: различение правдивой и ложной версий действительного биографического факта – задача судебной экспертизы. Для социолога важно понять причины преобразования значения факта и признать ценность биографического повествования как способа создания рассказчиком ощущения реальности всего с ним произошедшего [Устная история…, 2004, с.18]. Поскольку нарратив есть самоописание субъекта, в котором акты рассказывания о себе являются фундаментальными для реальности субъективного существования, нарративный анализ рассматривает язык не как инструмент отражения внешнего мира, а как способ и условие конструирования смысла. «Смысл – продукт операций, а не какое-то свойство мира … ведь не существует никакой идеальности, отделенной от реальности фактического переживания и процесса коммуникации; смысл означает, что во всем, что получает актуальное обозначение, подразумеваются и регистрируются в том числе и отнесения к другим возможностям» [Луман, 2004, с.45,48]. Иными словами, нарративы стремятся не к объективности, а к истинам опыта («темпоральным конструктам» [Готлиб, 2002, с.159]), которые раскрывают себя только после интерпретации нарратива с точки зрения оформивших его контекстов и повлиявших на него мировоззрений. «Изучение реальных людей, имеющих реальный жизненный опыт в реальном мире, происходит в нарративном анализе при помощи истолкования смысла, которым люди наделяют переживаемые события» [Ярская-Смирнова, 1997а, с.44].

Данная характеристика нарративного анализа заставляет социолога отказаться от безопасной роли интерпретатора извне, поскольку его социальное положение оформляет те смыслы, которые он извлекает из нарративов. По мнению П. Томпсона, сегодня ученый предстает не «холодным, рациональным суперменом», а более «человечным и «политическим» существом». Это, в частности, проявляется в том, что к обнаруженным в жизнеописаниях искажениям или умолчаниям он больше не относится однозначно негативно. Скажем, в типичной автобиографии семейные неурядицы в детстве автора могут быть изложены вполне откровенно, но проблемы в его супружеской жизни раскрываются крайне редко (это интимная информация личного характера). Однако попытки добросовестного интервьюера получить всю искомую информацию редко сталкиваются с настоящим сопротивлением. Кроме того, исследователь сегодня понимает неизбежность собственных изменений с течением времени и обретением опыта общения с самыми разными людьми: «этнографы практически никогда не выходят из «поля», не испытав его влияния … отказ от признания данного факта и нежелание провести его детальный анализ создает в исследовании тот пробел, который называется «зоной молчания» [Chesney, 2001, p.128].

Рассказчик всегда пытается навязать читателю «предпочтительное» прочтение своих текстов: «произведение представляет собой некое целое, единство которого определяется единством его смысловой интенции, т.е. задачей суггестивного внушения потребителю определенного смысла, определенного представления о действительности, “образа мира”» [Барт, 2001, c.16]. Способность читателя понимать смысл даже простейшего нарратива зависит от запаса прошлых знаний, который он сознательно или неосознанно использует для конструирования значений: способность увидеть в некоторой истории рекламный текст зависит от «предзнания» рекламных кодов; способность заметить глубоко и прочно укоренившийся мужской предрассудок определяет лингвистическая компетентность, позволяющая понять значения, зашифрованные в языковых нюансах; способность проникнуть в микрокосмос нарратора зависит от знания социальных отношений его макрокосмоса, понимания взаимодействия текста и контекста [Franzosi, 1998, p.545].

Каким бы ни был авторский вариант прочтения текста, читатель всегда привносит в него свое определение ситуации: даже если текст стремится к предсказуемой интерпретации, результат его прочтения иным «типом» читателя невозможно спрогнозировать: «никто не может предугадать, что случится, если реальный читатель будет отличаться от «среднестатистического». Читатель всегда «видит в тексте «свой» смысл благодаря собственному «интертекстуальному фрейму», «интертекстуальной энциклопедии», своей эмпатической компетентности и общности своего и «чужого» прошлого жизненного опыта, а потому является «частью процесса порождения текста» [p.546]. Крое того, информация нарративного интервью есть результат коммуникации интервьюера и информанта, их совместного «здесь-и-сейчас» конструирования реальности в контексте «драматургической» множественности идентичностей [Гофман, 2000, 2001]. Взаимодействие происходит не столько между индивидами как субъектами, сколько между разными социальными ролями индивидов или изображаемыми ими персонажами.

Таким образом, в ходе анализа нарративов следует учитывать следующие факторы, влияющие на их «истинность»: *реальность фактического переживания*, *процесс коммуникации* и *особенности памяти*. Коммуникация осуществляется там, где происходит различение и выделение из сообщения информации: «сообщающий» из всего массива того, о чем он мог рассказать, «посылает» именно данное сообщение, а «принимающий» «извлекает» из него далеко не все то, что стремился сообщить информант [Луман, 2004, с.210‑212]. Память представляет собой структуру предпочтений и диспозиций, систему ожиданий, условие и механизм отбора «запомненных» событий и способ конструирования историй. Человеческое понимание событий своей жизни в каждый новый момент времени неповторимо, но может быть доступным в воспоминании. Биографическое повествование подчинено и «архетипическим» схемам запоминания мест, событий и образов, которые воспроизводятся в институциональных образцах, заданных коллективными представлениями (например, «фреймы» карьеры задаются трудовой книжкой или некрологом): биографический нарратив оказывается стилизованным воспроизведением определенного жанрово-стилистического канона (например, «рассказа о жизни ученого») [Батыгин, 2002, с.106].

Человеческая способность вспоминать состоит из *семантической* (памяти знания) и *эпизодической памяти* [Устная история…, 2004, с.18-19]. Эпизодическая память аффективна, удерживает контекстуально (через время и пространство) связанные биографические эпизоды, что позволяет «путешествовать» в прошлое. Семантическая память контекстуально свободна, соотносится с «чистым» знанием информации и современна, поэтому она доминирует: эпизодическое (воспоминание) встраивается на уровень знания, т.е. смысл «подтягивает» иллюстрирующий его эпизод. Информация сначала проходит семантическую память, прежде чем достигает эпизодической, потому что только через формирование значений она закладывается на хранение. Невозможно очистить биографическую память от субъективности (якобы произошедшее далеко не всегда оказывается эквивалентным реально пережитому).

Содержание памяти перенасыщено и постоянно изменяется под влиянием позднейших событий, последующих оценок и нового социального окружения. Информация об относительно недавних событиях или современной ситуации находится где-то между самим социальным поведением и социальными ожиданиями данного периода, но если интервью охватывает более далекое прошлое, появляется дополнительная возможность искажений: чем больше прошло времени, тем менее надежной и более избирательной становится память (то, что мы видели метафорически, с течением времени может превратиться в «прозу жизни»). Более того, некоторые исследователи считают, что каждый человек имеет специфическую *«память сердца»*, которая отличается от автобиографической памяти и заставляет нас запоминать сильные впечатления, частные секреты, важнейшие события нашей жизни (хотим мы этого или нет), играя значимую роль в конструировании личной истории и урегулировании жизненных кризисов в нашем сознании [Страниус, 1997, с.27]. Так, исследования показали, что чем важнее то или иное имя/лицо для человека, тем больше вероятность, что он его вспомнит даже через полвека, т.е. процесс формирования памяти зависит не только от восприятия, но и интереса. Например, женщины гораздо лучше, чем мужчины, помнят события, связанные с семьей.

Невозможно просчитать количественное соотношение между временем прожитой жизни и временем жизни, запечатленном в памяти, однако очевидно, что память сохраняет лишь миллионную долю прожитого. «И в этом также частица сущности человека: если бы кто-нибудь мог удержать в памяти все пережитое и в любую минуту вспомнить любой отрезок своего прошлого, у него не было бы ничего общего с людьми»[[16]](#footnote-16). Критика тех, кто искажает и фальсифицирует прошлое, правильна, но она теряет свое значение, если ее не предваряет более элементарная критика человеческой памяти как таковой (она способна удержать из прошлого всего лишь ничтожно малую часть) и понимание, что такой реальности, какой она была, когда она была, больше нет и восстановить ее невозможно.

В итоге некоторые исследователи говорят о необходимости отказаться от анализа содержания нарратива и рассматривать в нем исключительно формы презентации индивидуального и социального опыта. Такой подход не совсем верен. Более корректным было бы говорить о направлении исследовательского интереса [Судьбы людей…, 1996, с.412‑413]: если социолога интересуют оценки и восприятие респондентами тех или иных явлений социальной действительности, то его внимание будет направлено на способы конструирования повествования. В этом случае нарратив выступает не как свидетельство, а как социальная практика, помогающая понять и объяснить механизмы производства и воспроизводства социальных представлений. Повествование здесь рассматривается как социальная конструкция, что порождает проблему его множественного прочтения разными специалистами и отношения неопределенности между конструкциями, построенными с целью объяснения практик, и самими этими практиками. Например, исследователь может анализировать нарративы личного опыта, выбрав из всего многообразия моделей включения индивидов в новые социокультурные условия модель социальной адаптации как наиболее адекватную российской действительности и отвечающую задачам исследования. Соответственно, нарративы будут рассматриваться с точки зрения используемых индивидом средств достижения собственного соответствия и совместимости с новым обществом.

Если исследователю необходимо определить наличие или отсутствие конкретных явлений в жизни респондента, то, видя в нарративе лишь отображение реальности, он будет пытаться «снять» интерпретации слой за слоем и расшифровывать текст, чтобы постичь «подлинную» реальность [Козлова, 2000]. Повествование в данном случае рассматривается как род субъективной реальности, как свидетельство, а язык – как средство, подчиненное цели высказывания, посредник между исследователем и реальностью, передающий неизменные и единственные значения. Поэтому изучая то, о чем написано, – сами воспроизведенные с разной степенью точности практики − социолог реконструирует «когнитивно-нормативные схемы и картографию повседневной жизни». В этом случае можно также использовать количественные методы получения первичной социологической информации, но это оправдано только в ситуации достаточно полного и детализированного представления об изучаемом предмете.

***Нарративный анализ в рамках качественного подхода***

Нарратив, понимаемый как история, рассказанная информантом, – не новая идея качественной социологии, поскольку «черты нарративной структуры пропитывают все наше социальное существование» [Суровцев, Сыров, 1998, с.196]. Для позиционирования нарративного анализа в рамках качественного подхода необходимо рассмотреть, во-первых, соотношение нарратива и этнографии (эта проблематика находится по большей части в фокусе интереса западных исследователей); во-вторых, соотношение нарративного подхода и биографического метода, так как они тесно взаимосвязаны в российской и западной научной традиции.

###### Нарратив и этнографическое описание

Прежде чем говорить о соотношении нарратива и этнографии, необходимо определить, о какой именно сфере производства и репрезентации научного знания, обозначаемой понятием «этнография», идет речь: о научной дисциплине, жанре презентации полевых материалов или конкретном методе сбора информации (включенном наблюдении) [Романов, Ярская-Смирнова, 1998, с.149]. Этнография – «наука описания: цель этнографа – описать, как люди определяют свой жизненный мир, как они ведут себя в повседневной жизни и придают смысл собственным действиям» [Brunt, 1999, p.503‑504]. В этом смысле этнография как важный источник знания о социальных ситуациях, их изменении, развитии и определении людьми похожа на журналистское расследование, съемку документального фильма и некоторые формы литературного творчества. Поскольку «без референции к эмпирической реальности большинство социальных наук становится абстрактным и бессмысленным набором слов … для социологов этнография − средство соприкосновения с социальным миром, уши и глаза социологии» [с.509].

В контексте нарративной проблематики имеет смысл рассматривать только вторую трактовку этнографии: жанр этнографического описания предполагает «включение» исследователя в жизнь объекта, чтобы достичь понимания социально-типичного через детальное описание единичного, акцент на субъективных переживаниях участников исследования (информантов и ученого) и невольное вовлечение читателя в процесс конструирования и реконструирования реальности. Жанр этнографического описания был разработан в рамках антропологии, но ее вклад в развитие социологических методов этим не ограничился [Сепир, 1993]. Именно антропология активно исследовала семью как образцовый шаблон социального устройства, формирование личности в ходе социализации, процесс переноса социальных шаблонов с одних общностей на другие, роль символики в жизни общества и т.д. Антропология показала реальность параллельного социального развития, вспомогательный характер функциональных группировок по отношению к кровнородственным, территориальным и статусным, способность навязывать понятие цели, выработанное в определенной социальной группе, общественному сознанию и т.д.

Большая часть качественных методов, которые в современной социологии считаются новыми, давно используются в полевых антропологических исследованиях (включенное наблюдение, глубинное интервью, кейс-стади, биографический метод). Сегодня мы просто переносим «ювелирный взгляд» антрополога на те общества, в которых живем сами, и осуществляем поиск универсальных структур и закономерностей посредством многоступенчатого подхода к индивидуальной биографии. Интерес социологии к «зоопарку повседневных практик» порой делает невозможным демаркацию между социологией и антропологией – они исследуют социальные связи через поведенческие коды, избегая жесткого детерминизма, поэтому проблема описания превращается в проблему репрезентации («письма», риторики, тропов, историзации и т.д.) [Козлова, 1999а, с.13‑14,17].

Этнографии – это реалистические описания, где внимание исследователя направлено на события, о которых идет речь в историях информантов (они становятся иллюстрациями к репрезентации социального мира аналитиком). Такое отношение к тексту/информанту можно классифицировать как субъект-объектное (исследователь консультируется у респондентов относительно истории и норм представляемого ими социокультурного сообщества) – в нарративном анализе оно имеет субъект-субъектный характер. В отличие от количественных исследований, нарративы и этнографии выходят за рамки исследовательской схемы, что позволяет им выявлять «естественные» повседневные установки с учетом процессов развития и изменения, а также типичное в уникальных ситуациях [Романов, 1996, с.140]. Иными принципиальными моментами сходства нарратива и этнографии выступают: 1) полное и всестороннее описание феномена в контексте его существования; 2) выявление литературного измерения текста респондента – в его семантической структуре присутствуют риторический и поэтический планы, репрезентирующие не столько сам изучаемый объект, сколько особенности дискурса автора [Рубел, Чегринец, 1998]. Сходны и те стандарты «точной» науки, которые нарушают этнографии и нарративы: реактивность, надежность, повторяемость и репрезентативность [Sanders, 1999]: исследователи «искажают» данные через взаимодействие с теми, кого изучают; у них нет четких критериев для отбора данных из всего собранного материала; интересные результаты невоспроизводимы, так как исследования уникальны; обобщения невозможны из-за ограниченного числа случаев.

Еще в 1940-1950-е годы социальные этнографы поставили под сомнение возможность и желательность соответствия критерию научной объективности той полевой работы, в основе которой лежит глубокая личная вовлеченность исследователя и эмпатическая связь. Отчасти в ответ на позитивистскую критику об отсутствии в этнографическом подходе убедительных процедур сбора и анализа данных в 1960‑е годы «полевые исследователи отошли от метода аналитической индукции в пользу «квазипозитивистского» метода «обоснованной теории» Глейзера и Стросса, чтобы продемонстрировать, что они могут быть так же точны, как и их «количественно-ориентированные» коллеги» [с.670]. Конвенциональный, длительный и независимый стиль полевой этнографической работы имеет свои достоинства и недостатки. Последние могут быть преодолены, в частности, за счет коллективной этнографической работы.

К достоинствам этнографического и нарративного подходов относят сочетание интуиции и творческого начала в работе исследователя: интуиция помогает увидеть новые проблемные зоны и правильно сформулировать исследовательские вопросы; творческий подход позволяет в сотрудничестве с респондентами обнаруживать смыслы, которые они вкладывают в свои жизни в заданном социальном окружении [Janesick, 2001, p.539]. Методическое различие нарративного и этнографического подходов состоит в том, что первый предполагает изучение различных повествований, а второй – длительное детализированное наблюдение за паттернами поведения определенной группы людей. Этнографии позволяют увидеть те «мелочи» жизни, которые не всегда очевидны в повествованиях, поскольку рассказчики редко осознают, что содержание их «историй» социально обусловлено и может быть иначе артикулировано в других пространственно-временных координатах (сравнительный этнографический подход «высвечивает» отличительные социальные паттерны изучаемого локального сообщества).

Противопоставление нарративного и этнографического подходов в последние годы связано с признанием важности «голосов с поля» (аутентичных повествований самих информантов) и с пониманием исследователями своей ответственности за презентацию итогов полевой работы [Gubrium, Holstein, 1999, p.562-564]. До недавнего времени этнографы говорили *за* своих респондентов. Сегодня информанты обрели авторский голос, стали «сами» описывать свой жизненный опыт и социальные условия его формирования, что изменило статус нарратива – из «слуги» этнографии он превратился в ее «равноправного партнера». Оптимальное соотношение нарративного и этнографического подходов – не их противопоставление или слияние, а взаимный контроль исследовательского процесса и репрезентации его результатов [с.565‑568]: 1) нарративы личного опыта в рамках описания любой социальной группы должны подтверждать значимость созданных этнографом сюжетных линий научной презентации результатов полевой работы; 2) этнографии позволяют увидеть те общие «фреймы» (понятия, сценарии), основанные на межгрупповых различиях, которые если и не диктуют структуру и содержание нарративов личного опыта своих членов, то определяют условия возможности самих повествований («истории» контекстуальны – они рассказываются в разных местах, в разное время и для разных целей); 3) нарративы показывают, что любое сообщество – не только реальный факт действительности, но и совокупность символических значений, которые могут различаться для каждого из его членов, т.е. этнографическая целостность нарушается благодаря своей нарративной природе.

###### Нарративный подход и биографический метод

В качественной социологии «история жизни» человека формируется посредством биографического повествования/нарратива, своего рода «сценического представления» себя и своей жизни. Интерес исследователя может быть направлен на содержание, способ конструирования биографии, отражающий социальную идентификацию респондента, или же на сравнение аналогичных случаев коллективного опыта для выявления культурных ориентаций или образцов поведения, типов жизненных стратегий в сходных ситуациях. Специфика социологической работы с биографическим материалом, в отличие от психологического или литературного подходов, состоит в трактовке его как рассказа не о том, что человек думает о своей жизни, а о том, что, где, когда и с кем люди делали, в каких локальных контекстах, с какими результатами и последствиями. Это позволяет идентифицировать скрытые правила, внутренние механизмы, конфликтную динамику и «игры» людей в рамках заданного социального контекста [Берто, 1997, с.14].

В качестве источника биографических данныхв социологии выступают полученные в ходе неструктурированных интервью «истории жизни», письменные автобиографии, дневники, письма, семейные архивные материалы, фотографии и т.п. *Дневниковый метод* интересен в том плане, что «писать дневник – значит конструировать приватное пространство, в котором можно властвовать над временем и вещами – это ситуация возникновения биографической идентичности» [Козлова, 1999а, с.92]. *Письма* имеют то преимущество, что представляют собой непосредственный акт общения, но они не избавлены от искажений – нет гарантий, что все, сказанное в письме, правда или хотя бы отражение подлинных чувств автора (адресаты писем редко пытаются сохранить «нейтралитет»). Тем не менее, письма используются в рамках исследования одиночества, социальной изоляции и эмоционального отчуждения как привычных явлений в жизни американского общества – в текстах писем выделяются общие тематизации фундаментального для человеческого бытия состояния одиночества [Rokach, 2004]. Наиболее очевидны проблемы с достоверностью опубликованных автобиографий: «*письменные мемуары* – это форма устной истории, созданная, чтобы вводить в заблуждение историков, … как источник они бесполезны, за исключением атмосферы» [Томпсон, 2003, с.126].

Оптимальным методом получения социобиографических данных является интервью: информанта можно попросить остановиться подробнее на непонятных или интересных моментах; сама конфиденциальная обстановка интервью позволяет получить информацию, публичное озвучивание которой могло бы дискредитировать человека. Однако в любых биографических интервью автоматически возникает проблема организации повествования рассказчика в соответствии с логикой последовательных институциональных достижений, а не реализации собственного жизненного проекта [Батыгин, 2002, с.116]. В любом случае биографические повествования/нарративы личного опыта предоставляют человеку возможность властвовать над временем (допустимы любые временн*ы*е скачки и смешение этапов жизненного цикла), над вещами (допустимы любые пространственные конфигурации жизненных практик) и над людьми (допустимы любые оценочные суждения).

Нарративы и «истории жизни» обладают рядом специфических характеристик: 1) уделяя внимание конкретным аспектам или этапам жизни человека, они редко включают в себя все события его жизни, так как носят подчеркнуто избирательный, селективный характер; 2) их анализ требует учета «перспективы деятеля», его смыслового горизонта, – интерпретация ситуации через субъективные категории и определения деятеля оказывается важнее, чем то, какова ситуация сама по себе; 3) они направлены на воссоздание исторической, развернутой во времени перспективы событий, поскольку история социальных институтов и изменений раскрывается через жизнеописания людей. Хотя формально биография характеризуется соотношением пройденного жизненного пути и перспективных жизненных планов, в субъективном восприятии самого индивида не прошлое, а именно «планируемое, ожидаемое и предвидимое будущее обеспечивает единство и целостность его биографии и, следовательно, прочность и долговременность его идентификаций» [Ионин, 2000, с.232].

Человек не в состоянии вернуться в прошлое, ему приходится двигаться вперед: нарративы придают осмысленную форму уже пройденному пути и помогают просчитать варианты развития событий и ситуаций в будущем. Темпоральность нарратива предполагает взаимные, а не однонаправленные (прошлое – «причина» всего) отношения между прошлым, настоящим и будущим: прошлое основано на наших изменчивых, избирательных и постоянно реконструируемых воспоминаниях; настоящее нелинейно и множественно; будущее – воображаемая проекция, ориентированная на наши цели, задачи и представления в настоящем, «предполагаемый сценарий», «нечеткий набросок», т.е. «уже случившееся» в прошлом и «еще не случившееся» в будущем конституируют значение настоящего момента [Irwin, 1996, p.111]. Каждый из «видов» времени требует особой *нарративной стратегии*: в отношении прошлого – это воспоминание, в отношении будущего – надежда, но люди склонны путать их, связывая, например, с прошлым надежды, которым не суждено было сбыться. В этом случае теряется реалистичность воспоминаний, а собственная история жизни оценивается неадекватно [Crites, 1986].

В социологии приняты две классификации жизненных историй: одна классификация включает в себя *полные «истории жизни»* (очерчивают весь жизненный путь человека, не требуют большого объема и подробной детализации), *тематические* (отражают некоторую сторону или этап жизненного цикла субъекта) и *отредактированные* (проинтерпретированы и организованы социологом в соответствии с теоретической логикой исследования) [Девятко, 1998, с.48]. Другая классификация включает в себя *автобиографии* (истории собственной жизни); *биографии* (рассказы, написанные «наблюдателем», обладают такими структурными характеристиками, как незримое присутствие других, упоминание семейного прошлого и поворотных событий, наличие точки отсчета и акцент на различии правдивых и ложных утверждений); *данные неформализованных интервью* (помимо обмена вопросами и ответами здесь присутствуют такие черты нарратива, как упорядочивание респондентом отдельных моментов личного опыта и реконструкция связного, последовательного «Я») [Ярская-Смирнова, 1997а, с.45-48].

Строгость последней классификации постоянно нарушается из-за отсутствия единой трактовки жанровых различий биографии и автобиографии. Одни авторы используют данные понятия как синонимы, предлагая широкое определение биографического метода как способа оценки жизненно-исторических свидетельств, или «документов жизни», которые описывают поворотные с точки зрения изменения фундаментальных структур значений моменты индивидуальных жизней [Социокультурный анализ…, 1998]. Так, В. Голофаст определяет биографические повествования как «лично обусловленные свидетельства социально-культурного, а не только жизненного мира индивида данного типа» [1997, с.23] и видит их фундаментальные особенности в структурном характере и укрупненном взгляде на действительность (что свойственно здравому смыслу и обыденному языку). Голофаст выделяет *три слоя биографического повествования*: 1) рутина – личный, семейный, групповой быт/обиход, область устойчиво воспроизводимых действий, мыслей, чувств и обстоятельств (социолог должен аргументировать ее контекст – эпоху, место, социальную общность и т.д.); 2) событийная культура – интеграция личных и общественных событий, которая формирует горизонт индивидуальной жизни; 3) тайная, скрытая, малопонятная и неожиданная сторона жизни, которая становится очевидной при первых же вопросах «почему?» и проясняются с помощью техники активной тематизации [с.23‑26].

Другие авторы [Судьбы людей…, 1996] проводят различие между автобиографией и биографией на том основании, что автобиография – всегда больше, чем просто отчет или презентация. «Автобиографии, в отличие от биографий, представляют собой нарративы о практиках, ориентированные на сущностную реальность и истину, где истина рассматривается с уникальной позиции автора, который одновременно и является рассказчиком, и рассматривает себя в качестве такового» [Руус, 1997, с.10]. То есть биография оказывается подкатегорией автобиографии, в которой выбор вопросов открывает нам столько же о самом авторе, сколько он желает открыть нам о предмете.

Синонимичность понятий биографии и автобиографии оправдана тем, что стержень любого (авто) биографического повествования формируют события жизни – большинство из них определяются рассказчиком как обыденные, некоторые обозначаются как поворотные пункты жизненного пути. Кроме того, анализ любых (авто)биографических данных возможен только при условии использования четырех взаимосвязанных категорий, а именно [с.10-13]:

* *Контекст* – конкретные условия и структура значений биографического повествования (например, рамки социально-исторического опыта одного поколения) далеко не всегда осознаются самим автором и эксплицитно представлены в рассказе, поэтому исследователь должен этот контекст открыть и сконструировать.
* *Аутентичность* – насколько реалистично автор представил свою жизнь. Обычно автобиографии более аутентичны, поскольку люди редко рефлексируют по поводу отличия себя сегодняшних от того «я», которое переживало события в прошлом, – они просто описывают личностные жизненные опыты; в биографиях возникает проблема оценки правдивости рассказа – сконструирован ли он как правдивый или является таковым.
* *Референциальность* (отнесенность) – действительно ли человек рассказывает о том, что с ним случилось, что он испытал.
* *Рефлексивность* – рассказчик смотрит на себя со стороны, меняя уровни и углы зрения под влиянием разных мотивов; чем более рефлексивен рассказ, тем более очевиден в нем контекст.

Выделяют *несколько подходов к анализу биографических данных*: 1) «восстановление» биографии как целостной и непрерывной последовательности в определенном социально-историческом контексте (реконструирование истории социальных групп и поколений); 2) определение причинных зависимостей событий и их мотивации; 3) интерпретация биографии как последовательности «статусных пассажей» (институционализированных переходов индивида из одного статуса в другой); 4) трактовка биографии как социального конструкта (важна не правдивость повествования, а способ организации жизненного опыта в единую биографию); 5) реконструирование «коллективной биографии» как типичной в определенной среде [Бараулина, Ханжин, 1997, с.100]. Выбор подхода осуществляется по критерию его релевантности типу полученной биографии (семейная, образовательная, профессиональная, статусная, гендерная и т.д.). Например, для интерпретации сексуальной биографии наиболее адекватен социально-конструктивистский подход – он позволяет увидеть, как сексуальность формируется на основе дискурсивного знания о мужском и женском, которое приобретается, воспроизводится и изменяется в течение жизни.

Понятие нарратива объединяет биографический метод в социологии и *метод «устной истории»* в исторической науке, если рассматривать последний широко − не как исследование источников устного характера или технику опроса свидетелей событий, имеющих историческую значимость, а как смену перспектив социального знания методологически («устная история» как поиск дополнительного знания через ретроспективное интервью) и концептуально («устная история» как субъективно ориентированное исследование) [Устная история…, 2004, с.17]. Собственно биографические исследования возникли позже «устной истории» как логическое продолжение интереса к жизненному опыту индивида с точки зрения интернализированной социальной истории. Обращение к нарративам личного опыта в рамках социологического и исторического исследования обычно объясняется стремлением обнаружить повторяющиеся модели коллективного опыта в конкретной социально-исторической среде. Биографические повествования и «устную историю» объединяет подчиненность определенным литературным канонам: стремясь быть понятым, человек ориентируется на некие очевидные формальные критерии понятности – пространственно-временные координаты, «персонажей», событийный ряд, степень актуальности повествования в момент его наррации и т.д. В общем виде взаимосвязь биографического метода и исторического исследования обозначил В. Дильтей: «человек, ищущий связующие нити в истории собственной жизни, уже, с разных точек зрения, создал в этой жизни единство, которое теперь облекает в слова … в своей памяти он выделил и акцентировал самые важные, на его взгляд, пережитые моменты … таким образом, первая проблема, относящаяся к пониманию и описанию исторических связей, уже наполовину решена самой жизнью» [Томпсон, 2003, с.62].

*Эпистемологические проблемы* «устной истории» характеризуют и нарративный анализ в социологии. Во-первых, это проблема достоверности, или соответствия реальных событий их описанию, – правда и вымысел в любой «истории жизни» всегда сплетены в единое целое. Воспоминания людей обусловлены личными интересами и/или задачами легитимации, трансформируются под влиянием нового жизненного опыта и вообще возникают благодаря диалогу с интервьюером. Это критическое замечание справедливо, но оно не отрицает познавательных возможностей исследования субъективности, просто выбранные техники и методики должны соответствовать предмету изучения (критика субъективности источников может на самом деле оказаться критикой постановки исследовательских вопросов). Во-вторых, материалы интервью трактуются как «артефакты» (вновь созданные источники): «попытаться понять жизнь как уникальную и самодостаточную серию последовательных событий, не имеющих других связей кроме как ассоциирования неким «объектом», обладающим единой константой в виде имени собственного, – абсурдно» [Бурдье, 2002, с.80]. Данное критическое замечание снимается «искусством интервьюирования» [Устная история…, 2004, с.20-21]: 1) интервьюер должен задокументировать существенное событие в жизни респондента не изолированно, а в системе всех его значимых связей и эпизодов; 2) точность воспоминания в процессе интервьюирования достигается с помощью технологии нарративного интервью, разработанной немецким социологом Ф. Щютце, – трехчленная структура интервью «уменьшает зазор гомологии рассказанного пережитому» (технология интервью будет описана ниже).

Таким образом, понятие нарратива оказывается абсолютным синонимом понятия биографического повествования (и «истории жизни»): 1) они предоставляют исследователю детальные описания «истории» отдельной личности, в которых значимые социальные связи и мотивы действий показаны с точки зрения актора, т.е. знание о социальной структуре и процессах основывается на индивидуальных репрезентациях социальной реальности [Рустин, 2002, с.17]; 2) они используются в социологии для изучения тех социальных групп, которые трудно поддаются пространственной и временной локализации; 3) предметом изучения является не индивид, а социальная конструкция его биографии [Судьбы людей…, 1996, с.301]. Более того, нарративный подход рассматривается как один из вариантов реализации биографического метода [Готлиб, 2002, с.141,276‑278]:

* *Реалистический подход* использует жизненные истории (одну историю жизни конкретного человека/одной семьи или целый ряд историй жизни/семейных историй) как новый фактический материал, содержащий субъективную интерпретацию внешних социальных структур. Реалистический подход далек от «классической» трактовки историй жизни как абсолютно правдивых, но он утверждает, что через субъективные повествования формируется если не объяснение социальных феноменов, то, по крайней мере, их «плотное» описание.
* *Нарративный* подход акцентирует способы, посредством которых информанты во взаимодействии с интервьюерами конструируют истории и производят мнения и оценки в соответствии со своими «решетками объяснений», обусловленными социокультурными нормами: «нарратив – средство понимания социального мира, люди – рассказчики, значит, мы можем лучше понять себя и свое социальное окружение, анализируя то, как мы конструируем свои истории» [Bochner, Ellis, 1996, p.5]. Соответственно, возможны три конкретизации субъекта в «истории жизни»: реально интервьюируемый (или автор письменной биографии), персонаж рассказа и рассказчик – каждая конкретизация занимает особое место в структуре повествования [Бургос, 1992, с.124].

Иными словами, если биография рассматривается как последовательность реальных жизненных событий, то задача социолога – сопоставить факты биографии c общим социально-историческим контекстом и реконструировать микроисторию социальных групп и поколений. Если биография определяется как последовательность статусных переходов, то социолог стремится установить каузальные зависимости между объективными событиями и субъективной мотивацией действий. Если биография – социальный конструкт типичной для определенной среды «истории жизни», то исследователя интересует не правдивость описанных событий, а те смыслы и значения, которые придает им рассказчик в процессе организации собственного разрозненного опыта в единую биографию. Понятие нарратива позволяет не конкретизировать вариант интерпретации биографии и параметры исследовательского поиска заранее.

Сложность однозначного позиционирования нарративного анализа в рамках качественной социологии в значительной степени обусловлена отсутствием единства в определении биографического метода. Одни авторы считают, что методы в современной социологической литературе называемые биографическими, по сути, идентифицируются с «историей жизни» как отдельной областью социологического исследования, но биографический метод отличается от таковой доминированием интереса к коллективной истории. То есть биографический метод посредством микроанализа позволяет раскрывать макросоциальные структуры (макросоциальное развитие описывается через индивидуальные судьбы), тогда как метод «истории жизни» прямо направлен на изучение микросоциальных структур [Бурдье, 2002; Козлова, 1999, 2000]. Другие авторы [Социокультурный анализ…, 1998; Судьбы людей…, 1996] связывают отсутствие четкого конвенционального определения биографического метода с его комплексным содержанием, негомогенностью источников информации и междисциплинарным характером, что неизбежно ведет к отсутствию терминологического единства – то же можно сказать и о нарративном анализе.

Итак, роль нарратива в социологическом исследовании можно представить следующим образом: в качестве инструмента придания смысла нарративы определяют наше восприятие социальной ситуации. Первоначально она осмысливается в форме нарратива, позже он трансформируется в числа, определения, матрицы и т.д. Например, исследование педагогического сообщества требует проведения кейс-стади педагогической практики, которое позже трансформируется в нарратив. Итог исследования – нарративы, включающие в себя результаты наблюдений; истории, которые рассказывают информанты; истории, которые мы слышим; теоретические модели. «Нарративная традиция» в социологическом исследовании вступает в силу в промежутке времени между речью информанта и пониманием исследователя. Социолог пребывает в «зазоре» между «записыванием» («насыщенным описанием») и «спецификацией» («диагнозом») – между определением значений социальных действий для самих акторов и констатацией того, что дает нам почерпнутое таким образом знание об общественной жизни в целом [Гирц, 1997, с.196].

В рамках качественной социологии нарративный анализ оказывается исследовательским подходом, который может использоваться при работе с любыми социобиографическими данными, полученными в ходе биографического интервью, этнографического включенного наблюдения или иными способами. По сути, биографический и этнографический методы являются вариантами кейс-стади, поскольку рассматривают отдельные «истории жизни» как репрезентации типов социального существования, однако кейс-стади несколько шире обоих методов по причине отсутствия ограничений на природу объекта изучения. Для всех тактик качественного исследования характерна проблема обобщения полученных данных, однако часто и нежелательно подводить итоги просто потому, что «хорошие исследования следует читать как нарративы – целиком» [Фливберг, 2004].

Понятие нарративного анализа часто выступает синонимом качественного подхода, особенно в случае его совмещения с количественным в одном исследовательском цикле. Например, рассматривая оптимизм и пессимизм как умонастроения, которые определяют практическую ориентацию в мире, можно провести массовый опрос населения, чтобы сравнить предрасположенности представителей разных групп к оптимизму и определить факторы, таковые обусловливающие (изменения в жизни, отношение к прошлому и настоящему, атрибуция личностных качеств окружающим, стратегии экономического поведения и пр.). Позитивный взгляд на жизнь в большей мере присущ студентам высших учебных заведений, руководителям учреждений и служащим частного сектора экономики, женщинам и молодежи; наименьший оптимизм демонстрируют рабочие, пенсионеры и безработные, мужчины, люди старше сорока лет [Муздыбаев, 2003, с.87-90]. Анализ нарративов личного опыта покажет, почему и какие именно изменения в индивидуальной жизни, какие временн*ы*е и поведенческие стратегии формируют в целом положительные или пессимистичные ожидания.

Синонимичность понятий нарративного анализа и качественного подхода подтверждает их взаимозаменяемость в современной западной социологии, где формулируются следующие стадии «нарративного исследования» [Fraser, 2004, p.186‑197]:

* Проведение интервью; оценка эмоционального состояния респондента и интервьюера (помогает понять значение рассказа информанта); определение «жанра» жизнеописания по его началу, развертыванию и завершению («история триумфа/сильной женщины/неудачника»); характеристика готовности респондента давать откровенные оценки прошлому.
* Транскрибирование аудиоматериала (приоритетом может быть как само содержание, так и то, как оно сообщается) и его редактирование в соответствии с задачами исследования (обычно убираются комментарии интервьюера, повторы и оборванные фразы, но сохраняются важные для понимания смысла высказываний паузы и умолчания).
* Идентификация типов и траекторий индивидуальных транскриптов с помощью разбиения повествований на тематические блоки/этапы жизненного цикла, хронологического упорядочения материала или построчного переписывания нарратива (с нумерацией строк). Исследователь должен систематизировать темы, которые встречаются во всех транскриптах, указав их ключевые понятия и объяснив данные им названия.
* «Сканирование» транскриптов для обнаружения различных измерений повседневной жизни информантов: личностное измерение (фразы «я решил для себя», «я подумал про себя» и т.д.) позволяет оценить потенциал реальной или мыслительной деятельности рассказчика; межличностные аспекты нарративов говорят о коммуникативном потенциале и круге общения респондента; культурное измерение показывает существующие вокруг информанта устойчивые конвенции социального взаимодействия (например, доминантные дискурсы, «маскирующиеся» под соображения здравого смысла); структурное измерение нарративов выражается в указаниях на правовые нормы, классовые, гендерные, этнические и иные модусы социальной организации. Исследователь должен принять принципиальное с точки зрения нарративного анализа решение – рассматривается только одно из указанных измерений (следует обосновать его приоритетность в контексте поставленных задач) или же несколько (тогда необходимо обозначить, каким образом они взаимодействуют).
* Связывание «личного с политическим», т.е. оценка того, как доминирующие дискурсы и обусловленные ими социальные конвенции конституируют «интерпретативные фреймы» индивидуального нарратива [Riessman, 2003]. Своеобразными индикаторами укорененности «политического» в личном являются метафоры, стиль повествования и юмор, обусловленные временем, местом, гендерной, классовой, социокультурной принадлежностью информанта и пр., – «то, как человек рассказывает свою историю, определяет наши возможности ее легитимной интерпретации» [Fraser, 2004, p.193].
* Поиск сходств и различий в рассказах информантов с помощью сравнения содержания, стиля и тональности транскриптов. Обычно сравниваются сюжетные линии, события и/или темы в «кластерах» (объединенных тематических блоках) с учетом их социально-исторического контекста и социально-демографических характеристик информантов. Общие биографические структуры (повторяющиеся) считаются каркасными для изучаемого типа жизненной практики, остальные – вариативными [Устная история…, 2004, с.155].
* Написание научного нарратива о нарративах личного опыта требует понимания, что (1) в результате «сшивания» множества историй информантов исследователь рассказывает свою собственную «историю»; (2) не существует «правильного» знания («истины») и завершенных нарративов – они подвержены постоянной перереконструкции и переинтерпретации. Представленные интерпретации не должны быть тавтологичны или фантастичны, не должны повторять давно известные «истины» и оставлять «белые пятна» в логике исследовательского поиска, должны подтверждать уважительную позицию исследователя по отношению к информантам и содержать указание на свой субъективный характер.

***ГЛАВА 3.***

***НАРРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ***

***В ПРАКТИКЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ***

***Нарративное интервью***

Общепризнанным методом получения нарративов в социологии считается *разновидность качественного интервью* – нарративное интервью. Его материалы более структурированы, чем письменные автобиографии, так как заданные интервьюером логика и элементы контроля, в отличие от свободного биографического жанра, не позволяют тексту отклоняться в сторону [прилож.2]. Проблематичность письменных автобиографий, даже в случае предложения респонденту ключевой темы в описании собственной жизни, образно говоря, связана с тем, что «писательство – дело одинокое … вглядываясь в неведомое море своей души … человек входит на корабль по имени «Слово» и решает плыть к ближайшему острову … и плывет на исходе сил, хотя и осознает, что отклонился от курса, и остров, к которому он направлялся, больше не виден на горизонте»[[17]](#footnote-17).

Нарративные интервью обладают необходимым потенциалом для валидизации знаний обычных людей и понимания скрытых мотивов поведения, которые могут поставить под сомнение официальные точки зрения или уже институционализированные теории. Базовое допущение нарративного интервью – знания, полученные посредством жизненного опыта, самодостаточны и способны снабжать своих носителей когерентной системой взглядов, которая формирует в их сознании правдоподобную картину прошлого. Соответствие структуры повествования структуре жизненного опыта в нарративном интервью достигается за счет его целостности и законченности (информант обычно доводит рассказ до конца и проясняет взаимосвязь его эпизодов), сгущения информации (рассказчик излагает не всю, а наиболее существенную для его жизненного опыта информацию) и ее детализации (любая тема или событие рассказа раскрываются в контексте своего возникновения) [Журавлев, 1993-94, с.36‑38].

Форма вопроса («нарративный импульс»), обстановка интервью, характеристики интервьюера и респондента, стиль отношений между ними и т.д. оказывают влияние на то, что и как говорит информант: если интервью берется дома, возрастает давление идеалов «респектабельности», в интервью на рабочем месте доминируют профессиональные условности; важно и то, носит интервью конфиденциальный характер или, наоборот, записывается [Томпсон, 2003, с.146]. Для сторонников количественного подхода приоритетное значение имеет этап сбора данных (совершенствование приемов и процедур получения информации в наименее искаженном виде), для приверженцев качественного подхода – этап интерпретации и анализа (учет влияния динамических характеристик коммуникативного взаимодействия на процесс порождения вербальной информации) [Маслова, 2000]. Поскольку качественное интервью выстраивается по коммуникативным правилам обыденного поведения, оно предполагает, что действия интервьюера оказывают влияние на ситуацию, даже если он молча слушает респондента, причем интервьюер не может предсказать воздействие своих слов и поступков на информанта и не может оценить правильность или ложность конкретной интерпретации, так как сам респондент не всегда понимает глубинные мотивы собственных действий. Поэтому для детализированного, неструктурированного и недирективного нарративного интервью характерна высокая совместимость с другими методами и внутренняя потребность в таком совмещении в связи с ориентацией на восприятие изучаемого явления в его феноменологической целостности и единстве с контекстом.

С точки зрения процедуры нарративное интервью – это «направляемый интервьюером свободный рассказ, повествование о жизни, текст которого подлежит качественному анализу» [Ядов, 1998, с.231]. Отсутствие вмешательства со стороны интервьюера, кроме возможных междометий удивления или одобрения, позволяет респонденту вспомнить в первую очередь те эпизоды, которые представляют для него наибольшую значимость. Социолог сохраняет свою доминирующую роль организатора опроса, интервьюера, автора тематического направления и «нарративного импульса», но респондент получает возможность выразить собственное видение и проживание проблемной ситуации. Он определяет композицию, контекстуальные рамки, рациональные и эмоциональные оттенки, стиль, выразительные языковые средства повествования [Маслова, 2000]. Оставаясь доминируемым по ролевой позиции, респондент оказывается доминирующим по способу выражения своих представлений [Бургос, 1992, с.127]. Поскольку процедурой управляет скорее не интервьюер, а сам информант, нарративное интервью не укладывается в стандартную классификацию видов интервью по критерию формализации–директивности–унификации (от стандартизированного до свободного). Критерий директивности здесь не «работает», хотя, как и свободное интервью, нарративное интервью не формализовано и не унифицировано [Готлиб, 2002, с.292].

Ф. Щютце, отталкиваясь от методологической предпосылки гомологии рассказанного пережитому, предложил следующую *трехчленную структуру нарративного интервью* (также разрабатывалась Г. Розенталь) [Журавлев, 1993‑94, с.39-40; Устная история…, 2004, с.21]:

1. Фаза свободного нарративного рассказа: следуя собственной логике субъективно значимых событий информант рассказывает свою историю без вмешательства со стороны исследователя. Объем ответов на «нарративный импульс» (вопрос «Что бы вы рассказали о своей биографии?») необъятен, но все они инвариантны, поскольку обычно респонденты рассказывают о том, как они стали тем, кто они есть сегодня. Упоминаемые информантом события «отфильтрованы» памятью и сегодняшним представлением о себе. Наиболее значимые события выбиваются из общей хронологии или становятся рефреном повествования: женские биографии отличает большой удельный вес частной жизни; у мужчин она сведена к минимуму и по жанру напоминает анкетные данные (мужчины стремятся представить себя с точки зрения профессионального пути).
2. Фаза нарративного расспрашивания: вопросы интервьюера направлены на уточнение деталей, восстановление оборванных нитей рассказа, прояснение смысла высказываний (многие рассказчики избегают явных оценок). Чтобы действительно «услышать» респондента, не следует формулировать большое количество конкретных вопросов [Мещеркина, 2004, с.87], в основном речь должна идти об определенном периоде в жизни, упомянутой в рассказе теме или ситуации, приведенному аргументу (для уточнения). Оптимальной формой самоконтроля для интервьюера является небольшой тематический гайд, которого следует придерживаться по мере возможности, но ни в коем случае не навязывать логику его выстраивания респонденту. Чтобы помочь информанту «перевести» собственный жизненный опыт в форму «истории», интервьюер может задавать вопросы «как это началось?», «что случилось потом?», однако приоритетом являются самостоятельно высказываемые респондентом комментарии и оценочные суждения. Информация, полученная в ходе нарративного расспрашивания, позволяет не только развернуто детализировать отдельные моменты, но и осветить те проблемные эпизоды, которые не вошли в основной рассказ по причине своеобразной внутренней цензуры информанта. Например, непроговоренность отношений отца и матери может свидетельствовать как о традиционном укладе в семье, так и об отсутствии сильных эмоциональных связей между родителями – оба варианта влияют на социальную и гендерную идентификацию детей.
3. Предложение рассказчику оценить свою жизнь в целом: сравнение реконструированной биографической идентичности информанта с его собственной «теорией» своей жизни помогает понять используемые им схемы толкований и интерпретации. «Фрейм», «рамочный» смысл «истории жизни», обычно задается в начале и в конце повествования, но биографическая процессуальность (упоминаемые события и факты) может изменять заданные смысловые рамки. Важно, чтобы сам рассказчик проговорил ту событийную логику, за счет которой его повествование приобрело целостность. Иногда на заключительном этапе проведения нарративного интервью респондента просят изобразить графически, например, этапы своего профессионального пути и сопроводить их комментариями, что позволяет понять ценностно-временн*о*е восприятие рассказчиком своей профессиональной биографии в единстве ее событий.

В качестве *практических рекомендаций* по проведению нарративного интервью исследователи подчеркивают необходимость [Fraser, 2004, p.184-185]: предварительно ознакомиться с социально-историческим контекстом жизни респондентов; использовать различные коммуникативные стили общения; избегать «вытягивания» из респондентов информации; аккуратно относиться к временн*ы*м рамкам как избранным самим респондентом, так и заложенным в задачах исследования; создавать атмосферу доверия (с помощью достаточно неформальной и дружелюбной манеры общения); обсуждать с респондентами возникающие в процессе интервью первоначальные интерпретации происходящих в их жизни событий; с уважением относиться к той форме, стилю и содержанию повествования, которые выбрал респондент.

К решающим *методическим преимуществам* нарративного интервью в силу его неформализованного характера относятся гибкость, триангулируемость и «феноменологичность», к *недостаткам* – отсутствие доказательности и гарантий глубокого проникновения в подлинные установки и убеждения людей [Веселкова, 1994, с.107]. Вместо понятий надежности, точности и устойчивости в нарративном интервью используются критерии недирективности, референтности и естественности. Под недирективностью понимается мастерство нейтрального (несуггестивного) опроса, нацеленного на минимизацию «эффекта интервьюера», хотя радикальное невмешательство может вызвать серьезные искажения (интервьюируемый не знает, о чем его, собственно, спрашивают, а исследователь не знает, что имеет в виду респондент). Категория референтности предполагает акцент на контекстуальности речевого материала информанта – «нужно «проникнуть» в описываемую информантом практику, чтобы быть уверенным в обоюдном понимании» [с.108].

Необходимо отметить, что понятие нарративного интервью не отличается однозначностью: одни исследователи разводят понятия нарративного и биографического интервью, другие, наоборот, определяют нарративное интервью как биографическое повествовательное [Маслова, 1996, с.209]. Одни авторы различают нарративное интервью как биографический метод (рассказ о жизни в целом) и лейтмотивное (тематическое) интервью как повествование об отдельном аспекте биографии [Семенова, 1998, с.104-106]; другие вводят понятие «лейтмотивно-нарративное интервью» [Устная история…, 2004, с.135] или заменяют его формулировками «проблемно-ориентированное интервью с использованием элементов биографического» [Устная история…, 2004, с.197], «биографическое проблемно-ориентированное» [Бредникова, 1997, с.70], «тематически стимулированный биографический нарратив» [Герасимова, 1997, с.105], «биографически-нарративное интервью» [Женская устная истории…, 2004, с.70]. Все эти понятия объединяет то, что нарративное интервью в строгом смысле слова доступно не каждому респонденту. Оно предполагает, что «после предъявления нарративного импульса роль исследователя-интервьюера ограничивается эмпатическим слушанием, обеспечивающим психологическую поддержку рассказчика и стимулирование его активности; в действительности же респонденты обладают весьма различными способностями, желанием и готовностью рефлексировать» [Маслова, 2000, с.50]. Кроме того, в рамках нарративного интервью высокие требования предъявляются и к «ретроспективной компетенции» респондента – способности информанта по заказу интервьюера/исследователя под углом определенной тематической перспективы образовывать смысловые связи, формулировать, оценивать и оправдывать мотивы и намерения [Женская устная история…, 2004, с.71].

П. Томпсон признает наличие двух крайних форм интервью – 1) разграфленного «вопросника» с жесткой логической структурой, когда респондент дает односложные или очень краткие ответы (здесь могут «подавляться» многообещающие направления исследования и упускаться важная информация), и 2) «свободного разговора», в котором рассказчика «приглашают поговорить» (интервью может выродиться в набор анекдотов и сплетен) [2003, с.226‑229]. По его мнению, контраст между указанными типами интервью не столь резок уже потому, что любые общие принципы сглаживаются под воздействием личностей участников интервью: ни один интервьюер не будет проводить интервью в негибком анкетном стиле с непроницаемым лицом и отказываться от диалога с собеседником во избежание искажений. Хотя в отечественной социологической традиции понятия нарративного и свободного интервью разводятся, в понимании Томпсона – это вещи синонимичные. Во-первых, задача свободного интервью – запись нарратива (что люди говорят о своей жизни или ее части, как они строят рассказ, выбирают события и слова); во-вторых, Томпсон ставит под сомнение рассмотренную выше трехчленную структуру нарративного интервью с точки зрения субъективного характера полученной информации: как и в свободном интервью, в нарративном интервью необходимо, в первую очередь, установить социальный контекст (объяснить цель интервью), что порождает определенные ожидания у информанта и влияет на все происходящее.

Независимо от метода получения нарративов, в них могут использоваться различные *принципы связывания и осмысления событий*: «героецентрический», временн*о*й (повествование-хроника), пространственный (повествование-путеводитель), причинно-следственный (повествование-толкование) [Веселова]. Сам процесс осюжетивания жизненного опыта, превращения его в нарратив схематично выглядит так: неделимый жизненный континуум – выделение и отбор событий (фабула) – связывание событий (сюжет) – материализации жизненного опыта в конкретной нарративной форме. *Общая схема работы с нарративами* предполагает несколько этапов: 1) непосредственное участие информанта (рефлексия, воспоминания, накопление отдельных фактов в наблюдениях – одни феномены оказываются для человека значимыми, другие он даже не замечает); 2) конструирование нарратива воедино так, чтобы авторская интерпретация событий была понятна слушателям (нарратив неизбежно является самопрезентацией рассказчика); 3) фиксация речевого действия в письменной форме (транскрибирование); 4) анализ исследователем расшифровок и создание некой минитеории (собственной версии изучаемого явления), исходя из поставленных задач и теоретических предпочтений; 5) восприятие читателем написанного отчета – он становится соавтором текста, привнося в него свои смыслы, вопросы и сомнения [Ярская-Смирнова, 1997а]. Каждый из перечисленных этапов, с одной стороны, конституирует описываемый в нарративе опыт, придавая ему смысл, с другой – урезает, редуцирует, искажает и изменяет его.

***Варианты «прикладного» нарративного анализа***

*Подходы к анализу нарративов*

Можно выделить несколько подходов к анализу нарративов: драматический, социолингвистический, структурный. *Драматический подход* акцентирует внимание на грамматических ресурсах, применяемых индивидами для характеристики действия, сцены, агентов, обстоятельств и целей. «Драматургический анализ» представления, исследование техник и приемов «продажи своего имиджа» информантом позволяет понять, каким образом человек поддерживает или меняет свою идентичность [Бредникова, 1997, с.74]. Поскольку «речь уточняет интенцию говорящего» [Луман, 2004, с.89], *социолингвистический подход* апеллирует к изучению разнообразных черт речевой пунктуации, которые помогают интерпретатору услышать, как группируются предложения и маркируются границы эпизодов (хотя нарративы только условно являются историями, имеющими начало, середину и конец). Задача нарративного анализа в данном случае состоит в выявлении не только чисто лингвистических характеристик истории, но и собственно социологического содержания набора фраз. В основе нарратива как законченного текста, полученного в результате установления отношений последовательности между локализованными в пространственно-временных координатах событиями, всегда лежит некий концептуальный «посыл», в соответствии с которым повествование организуется иерархически – от наиболее важных и глобальных событий к менее значимым феноменам [Abu-Akel, 1999, p.438].

*Структурный подход* позволяет избежать тенденции прочтения нарратива только ради содержания или как доказательства первичной теории и имеет свою внутреннюю дифференциацию [Ярская-Смирнова, 1997а]: одни авторы убеждены, что основу нарратива составляет совокупность темпорально упорядоченных предложений (В. Лабов); другие считают, что важна не хронология, а взаимосвязь событий (К. Юнг); третьи утверждают, что целостность нарратива гарантируется не временем, а темой (К. Риссман). Но в любом случае «суть классического повествования в том, что оно подчиняется логико-временному порядку» [Барт, 2001, с.70]. Структурный подход допускает разные варианты нарративного анализа: фиксацию в целостных текстах основных тем, элементов мысли и стиля (Р. Барт); акцентирование связи текста со средой и взаимосвязи слов в тексте (Т. ван Дейк); выделение элементов текста по их функциям (К. Леви‑Строс, В. Пропп); выстраивание структуры текста на основе определенным образом взаимосвязанных событий (З. Харрис). У. Эко определяет структуру как результирующую модель упрощающих операций, позволяющих рассматривать явление с одной единственной точки зрения и «именовать сходным образом разные вещи» [1998, с.63-65]. Путем последовательного абстрагирования мы находим гомогенные структуры на разных культурных уровнях и представляем текст в виде некоей пространственной схемы (пирамиды, круга, спирали, ролевой или темпоральной матрицы и т.д.). Хотя ни одно произведение не сводимо к схеме или ряду схем, мы загоняем его туда, чтобы разобраться, почему возможно множество интерпретаций одного и того же текста.

Структурный подход основан на предположении, что «нарративы обладают общей структурой, которую можно анализировать, невзирая на сложность ее вычленения», и направлен на поиск «инвариантных структурных компонентов миллионов нарративов» [Franzosi, 1998, p.524]. Структура нарратива – не результат рефлексии над объективно присутствующей в самом прошлом родственной структурой: у прошлого нет нарративной структуры – она появляется только в повествовании, придается, навязывается прошлому [Анкерсмит, 2003а, с.128]. Переоценивать значимость структурирования содержания нарратива не следует: «структура – это вроде истерии: если заниматься ею, она присутствует с несомненностью, но стоит притвориться, что игнорируешь ее, как она исчезает» [Барт, 2000, с.19].

Тем не менее, анализ нарратива проще и целесообразнее проводить на основе выделения его структурных компонентов. В «полном» нарративе принято выделять шесть *формальных функциональных элементов*: 1) тезис/резюме (краткое изложение существа дела); 2) ориентацию (характеристику времени, места, ситуации и участников действия); 3) комплекс действий/осложнение; 4) оценку (значимость и смысл действий рассказчик выражает прямым утверждением, лексическим усилением, приостановкой действия, повторением и т.д.); 5) резолюцию (итог разрешения затруднения) и 6) коду (отнесение к настоящему времени) [Franzosi, 1998; Labov, 1997; Labov, Waletzky, 1997; McCormack, 2000; прилож.4]. В первую очередь именно осложнение необходимо для формирования нарратива; обычно оно состоит из ряда событий и образует основу нарративных предложений [Labov, 2001]. В «хорошем» завершенном нарративе достаточно четко представлены (очевидны для слушателя/читателя) все функциональные элементы, т.е. «даже посторонний человек не спросит «Ну и что?»: хороший рассказ постоянно сам отвечает на этот вопрос» [Labov, Waletzky, 1996, p.37].

Процедура структурного рассмотрения нарратива включает в себя несколько этапов:

1. выделение речевых отметок начала и конца повествования и вычленение относительно простого нарратива благодаря наличию смысловой связи между началом и концом «истории»;
2. перепись выбранного нарративного сегмента с нумерацией строк и указанием его формальных функциональных элементов;
3. анализ нарратива с точки зрения соотношения элементов нарративной структуры (способа отбора прошлых событий, сюжета, описания действующих лиц и временной последовательности);
4. выяснение социальной роли нарратива (как он возник, читается, изменяется и т.д.).

За последнее десятилетие социологи предложили разные варианты анализа нарративных текстов, основанные на их структурных лингвистических характеристиках: сравнение нарративов с точки зрения формальной репрезентации нарративных структур в терминах акторов и действий; семантическую грамматику − организацию нарративной информации по модели «SAO» (субъект, действие, объект), где субъектом и объектом обычно являются социальные акторы; сетевые модели; поиск повторяющихся черт во временной организации нарративных структур; различение значений тех событий, что происходят по причине одно другого, и тех, что следуют друг за другом, – этот подход позволяет обнаружить явные и скрытые каузальные характеристики нарратива и сформулировать гипотезы о социальных отношениях, работая лишь с одним-единственным нарративом.

*Транскрибирование и редактирование*

Прежде чем суммировать конкретные приемы нарративного анализа, необходимо рассмотреть два, казалось бы, внешних по отношению к самой аналитической процедуре, момента. Во-первых, исследователь работает с транскрибированными и отредактированными, а не «аутентичными» повествованиями респондентов – транскрипт превращает «слуховые» объекты в визуальные, что неизбежно предполагает изменения и интерпретации. Во-вторых, выбор аналитической процедуры в значительной степени детерминирован масштабом социологического исследования: небольшие проекты часто базируются на детальном, «построчном» анализе нарративов, однако он редко используется в исследованиях, где количество респондентов превышает пятьдесят (здесь не предполагается «пристального» изучения транскриптов интервью – в иллюстративных целях привлекаются целые секвенции нарративных текстов).

Дистанция между «сырым» полевым материалом (как он представлен в наблюдениях и первоначальных высказываниях) и финальной научной презентацией результатов исследования огромна [Brunt, 1999, p.502]: первый шаг на пути к ее созданию – транскрибирование записей, второй – их редактирование (по сути, «вычищение» текста от присутствия самого автора), третий – написание аналитического отчета, четвертый – трансформация отчета в статью по результатам исследования и, наконец, пятый, – презентация исследователем своих выводов в рамках научных дискуссий с коллегами. Созданные информантами «тексты» могут быть представлены в научных публикациях не только фрагментарно и в отредактированном виде, но и, что случается крайне редко, в полном соответствии с «оригиналом», без правки и редактирования, но с комментирующим рассуждением исследователя [Козлова, Сандомирская, 1996, с.10], или же, наоборот, как полностью «фикционализированные» истории [Gilgun, 2004]. Любое редактирование вносит в текст информанта субъективность исследователя, поскольку «редактор» через отбор фрагментов может сконструировать из рассказчика и субъекта («палача»), и объекта («жертву»).

Транскрибирование всегда частично и избирательно, потому что, во-первых, устный рассказ преломляется через видение исследователя (транскрибирование аналогично фотографии); во-вторых, социолог определяет, каким должен быть транскрипт (будет ли он отражать все элементы устного рассказа). Например, в рамках социолингвистического подхода важны не только все лингвистические нюансы, но и невербальные моменты (паузы, обрывы речи), которые необходимо зафиксировать в транскрипте (прилож.4). А в случае сравнения нарративов для создания «обоснованной теории» приоритетом является аккуратность фиксирования содержания повествования [MacLean, Meyer, Estable, 2004, p.116]. В любом случае ни один транскрибированный текст не может полностью отразить сложность коммуникативного взаимодействия в рамках интервью и быть абсолютно свободен от ошибок.

Редакторская правка транскрипта (и письменной автобиографии) обычно включает в себя [Козлова, Сандомирская, 1996, с.245-249]: интонационную разбивку текста с помощью знаков препинания; разбивку текста на предложения и абзацы, чтобы придать ему правильную нарративную структуру; переформатирование текста с помощью синтаксической правки – исправляются смешения падежей, ошибки согласования, избыточные повторы членов предложения; формирование собственно нарратива за счет таких текстообразующих средств, как сюжет, фабула и т.д. Потенциал редактирования должен быть ограничен пониманием, что хотя слова могут складываться в неграмотные фразы, это неизменно усиливает их непосредственность и выразительность – они буквально «оживляют» историю. Редактирование текстов респондентов может проводиться с целью акцентирования именно тех моментов повествования, в которых затронуты ключевые с точки зрения исследования темы, однако все элементы первоначального нарратива должны быть представлены в транскрипте хотя бы для того, чтобы текст был «репрезентативным». С.А. Белановский выделяет три аспекта редактирования текстов интервью [2001]:

* Стилистическая обработка фраз и их сочетаний («микроуровень» редактирования) – исходные устные высказывания трансформируются в стилистически грамотную письменную речь. Задача «редактора» – добиться полного совпадения мысли и ее словесного выражения за счет устранения стилистических ошибок (неточных словоупотреблений, оговорок, тавтологий, неоконченных фраз и т.д.) и разбивки повествования на абзацы.
* Логический контроль – устранение логических ошибок (не ложных утверждений, а ложных смысловых конструкций): ошибки, которые очевидны из контекста высказываний респондента, «редактор» исправляет самостоятельно; отдельные неточные выражения могут потребовать дополнительного интервью; противоречия, имманентно присущие мышлению респондента, сохраняются в тексте, чтобы получить содержательную психологическую или социологическую трактовку.
* Формирование текстовой композиции («макроуровень» редактирования) в соответствии с заданной респондентом или исследователем логикой изложения объективной и субъективной картины жизни информанта.

Обращение к проблеме редактирования транскриптов объясняется возможностью двух исследовательских ориентаций в рассмотрении итогового текста: уровень непосредственной беседы и уровень объективированного текста. В рамках нарративного анализа первая ориентация встречается редко – приоритетным предметом изучения является объективированный текст. Соответственно, если вспомнить пять структурных компонентов любого коммуникативного акта (субъекты, повод, цель и эффект воздействия, контекст, специфика языковых средств), превалирующее значение в рамках нарративного анализа имеет один постоянный компонент (рассказчик) и все три варьирующих − цель и эффект воздействия (самопредъявление нарратора), контекст формирования нарратива и используемые информантом языковые средства. Поэтому, прежде чем переходить непосредственно к анализу полученного транскрипта, необходимо рассмотреть его с позиции активного слушателя, ответив на следующие вопросы: 1) как определяет процесс наррации рассказчик – пытается ли он рефлексировать над собственным опытом, «теоретизировать» его, чтобы сделать свою точку зрения понятной слушателю; 2) какие языковые средства он использует, чтобы описать себя, свои отношения, свою жизнь; 3) каков контекст конструирования нарратива (ситуация интервьюирования и более широкий социокультурный контекст).

*Шкала приемов аналитической работы с нарративами*

Своеобразную систематизацию способов анализа интервью в рамках нарративного подхода предложил П. Томпсон, противопоставив его реконструктивному подходу, преобладающему в устно-исторических исследованиях [2003, с.272-283]. *Реконструктивный подход* направлен на воссоздание социального контекста или отдельных его элементов (например, типа социальной мобильности или ситуации); в рамках *«нарративного метода»* повествования могут анализироваться либо как конъюнкции отдельных, единичных утверждений (что непродуктивно для социологии), либо как нарративы во всей их тотальности. Единство и согласованность нарратива гарантируются нашей способностью идентифицировать в нем ту главную идею, которая определяет видение прошлого. Трудность заключается в том, что эта идея часто становится ясной только в противопоставлении с конкурирующими трактовками [Анкерсмит, 2003, с.209]. Итак, по Томпсону, возможны следующие вариации «нарративного метода» [2003, с.275-283]:

* Самый простой вариант – попытка истолковать интервью с позиций традиционной литературной критики, т.е. раскрыть замысел автора, опираясь на любые полезные зацепки, те образы и темы повествования, где проявляются «мифы», которыми мы живем (золотая пора детства, беззаветная материнская любовь и т.д.).
* Оценка интервью с жанровой точки зрения – определение стиля повествования и того, как его форма влияет на содержание (например, как на содержание рассказа влияет принятие фаталистической установки «мне суждено быть бедняком»).
* Выявление символического значения используемых языковых конструкций: избыточные выражения и неоправданные отклонения, все эмоциональное и субъективное в повествовании не только свидетельствует о невысказанных личных переживаниях, но и показывает, откуда человек родом, уровень его образования, сословную принадлежность.
* Способы анализа нарратива в его целостности:
  + Многоступенчатый метод, разработанный К. Риссман в рамках изучения рассказов мужчин и женщин о причинах развода. Сначала из черновой записи интервью удаляется все, что не имеет прямого отношения к повествованию (отступления, обмен репликами с интервьюером, неудачные начала фраз и т.п.), и выделяются описания конкретных событий. Затем по методике Лабова нарратив делится на смысловые отрезки с пронумерованными строками, но не функционально, а поэтически (в стихообразной форме). Далее определяются ключевые моменты повествования, присутствующие в каждом интервью, и сопоставляются у лиц разного пола.
  + Формализованный метод группового анализа нарративов, разработанный Ф. Шютце и Г. Розенталь (использовался в изучении воспоминаний пожилых немцев, неохотно и путано рассказывающих о периоде нацизма и войны). Сначала нарративы прочитываются целиком с акцентированием ключевых моментов повествования, особенностей речи и интерпретаций рассказчиков. Исследовательская группа выдвигает гипотезы, они проверяются путем всестороннего и последовательного анализа коротких отрывков текстов. В итоге жизнеописания реконструируются как хронологически упорядоченные биографии и как субъективные интерпретации жизненного опыта. Сопоставление достаточного количества интервью позволяет смоделировать типовые «истории жизни».

В классификации Томпсона только два последних варианта «нарративного метода» могут считаться социологическими. Чтобы составить некоторое целостное впечатление о «прикладном» нарративном анализе в социологии, можно условно упорядочить конкретные приемы аналитической работы с нарративами личного опыта по степени их относительной формализации на шкале с «количественным» и «качественным» полюсами.

*Контент-анализ*

Крайнюю позицию на «количественном» полюсе нашей условной шкалы занимают различные типы контент-анализа [Дмитриева, 1998, с.92; Vincent, 2000]: *прагматический* контент-анализ представляет собой классификацию высказываний с последующим установлением причинно-следственных связей; *семантический* контент-анализ предполагает систематизацию символов в зависимости от их значений и имеет три формы – измерение частоты упоминания объектов (обычно словоформ или лексем) в тексте, расчет частоты упоминания описаний объектов и измерение частоты упоминания объектов с конкретными характеристиками в конкретном контексте; *психологический* контент-анализ направлен на изучение эмоциональной окрашенности высказываний (недомолвки, темп и ритм речи, выбор слов в тексте позволяют оценить подтекст сказанного или то, что автор хотел умышленно скрыть).

Перевод качественных утверждений в плоскость количественных измерений посредством контент-анализа позволяет сделать выводы более доказательными, а аргументы – более весомыми. Процедуре контент-анализа должно предшествовать выделение основной идеи, структуры текста, смысловых связей между эпизодами – особенности текста должны быть ясны к моменту определения смысловых единиц и единиц счета. Ключевым ограничением контент-анализа в рамках работы с нарративами личного опыта является его «неадекватность в эвристическом смысле» [Квадратура смысла…, 2002, с.199]: он вскрывает содержание текста, но далеко не всегда позволяет адекватно интерпретировать его значение, поскольку базируется на ранее высказанных положениях и использовании установленных научных категорий (исследователь просто иллюстрирует свою точку зрения).

*Информативно-целевой анализ*

Следующую после контент-анализа позицию на нашей условной шкале занимает информативно-целевой анализ. Нарративное интервью – коммуникативно-познавательный процесс с собственным движущим механизмом: вопрос интервьюера интерпретируется в сознании респондента и побуждает его к ответу, интерпретация которого интервьюером, в свою очередь, может породить ранее не запланированный вопрос. Успех взаимодействия интервьюера и респондента определяется тем, насколько адекватны друг другу структуры порождения и интерпретации текстов вопросов и ответов (иначе возникает ситуация «смысловых ножниц»).

Средством обнаружения и устранения «смысловых ножниц» и является информативно-целевой анализ, позволяющий выделять макроструктуру (иерархию разнопорядковых смысловых блоков в тексте относительно основной идеи) и микроструктуру (внутритекстовые связи между блоками текста, образующими его логико-фактологическую и смысловую основу) текстов интервьюера и респондента и, тем самым, «контролировать соответствие формулировки вопросов целям исследования, определять коэффициент информативности ответов[[18]](#footnote-18) и оценивать с этой точки зрения качество формулировок соответствующих вопросов, выявлять рассогласованности «фокусов» вопросов и ответов и находить способы их устранения» [Киселева, 1994, с.116].

*Интерпретативный анализ*

Основной интерес для качественного, или интерпретативного, анализа текста представляет соотношение между его рациональными и риторическими элементами. *Рациональные средства* раскрывают суть идеи (хотя она искажается самим фактом облачения смысла в слова), а *риторические* (эмфаза, повторы, параллели, лейтмотивы, метафоры и т.д.) делают идею доступной и привлекательной для восприятия, т.е. задача аналитика – вскрыть все возможные смыслы текста, даже те, что завуалированы красивой риторикой. К достоинствам качественного анализа относят способность показать, насколько большое значение может иметь даже один-единственный текст в плане как своей внутренней организации, так и отношения к тому социальному миру, который он конструирует [Edwards, Martin, 2004, p.148].

Интерпретативный подход к анализу индивидуальных биографических повествований разрабатывал Н.К. Денцин, считавший, что внутри каждой «истории жизни» можно выделить несколько нарративов, перетекающих друг в друга. Основой выделения «мининарратива» является *момент «эпифании»*, или особый опыт, важное событие индивидуальной жизни, помогающее человеку сформировать представление о самом себе. «Момент эпифании» важен потому, что прежнему опыту или событию придается определенное значение в ретроспективе, т.е. их смысл может значительно различаться в зависимости от того, оцениваются они сразу после/непосредственно в момент совершения или же человек пытается понять свою жизнь от момента их совершения в прошлом до настоящего времени. Задача исследователя состоит не в установлении последовательности причин и следствий, а в понимании места «эпифании» в общем рассказе на основе предложенных индивидом или, что не менее важно, сокрытых рассказчиком аргументов и мотивов.

Примером момента «эпифании» может выступать обращение к вере у женщин-мусульманок в современном российском городе [Устная история…, 2004, с.201]: повествование здесь конструируется через призму религиозного опыта и распадается на три компонента – что было до того, как женщина стала практикующей мусульманкой; как возник и развивался интерес к исламу; какие изменения произошли в ее внутреннем мире и внешнем окружении после принятия исламского образа жизни. Р. Хамфри определяет эпифании как драматические события, которые прерывают «социальные карьеры» путем переключения траектории жизни от социальной вовлеченности к социальной изоляции, т.е., по сути, это «интеракционные моменты и опыты, оставляющие глубокий след в жизни людей благодаря тому, что изменяют их фундаментальные структуры значений» [1997, с.83]. Хамфри приводит три примера – три разных типа «карьерного перелома»: 1) не запланированный, не результат целенаправленных действий респондента – несчастье/трагедия (смерть мужа); 2) результат осознанного и целенаправленного действия, противоречащего культурным нормам и ценностям окружения (развод); 3) трагедия скорее социального, чем психологического характера, вызванная реакцией окружающих (рождение умственно отсталого ребенка).

Крайнее положение на «качественном» полюсе нашей условной шкалы занимает *краткий пересказ биографического нарратива* с выделением фрагментов, характеризующих навыки автора осмысливать события собственной жизни [Устная история…, 2004, с.91-130; Цветаева, 1999]. Подобные трансформации исходного текста базируются на допущении, что одно и то же содержание формирует разные поверхностные структуры (повествования), а «выжимка» из нарратива не делает его менее специфичным с точки зрения той ситуации, о которой идет речь. Анализ биографических текстов проводится в этом случае на основе теории защитных механизмов психики или исходя из интерпретативной схемы Й.П. Рууса [1997], предполагающей вычленение в нарративе базового габитуса адаптации социальной группы и побочных элементов, которые свидетельствуют о неспособности человека совместить практическую логику своей жизни с общественной логикой [Цветаева, 1999, с.98].

Так, конструирование истории семьи осуществляется через постепенное «упорядочивание» нарративов представителей всех ее поколений в фазы совместной жизни и/или раздельного существования, которые важны для истории семьи в целом, но редко просматриваются при первом чтении индивидуальных нарративов [Судьбы людей…, 1996, с.236]: выявляются связи между различными событиями и упоминавшимися ситуациями; история семьи усложняется и приобретает «осязаемость»; «белые пятна» заполняются более или менее правдоподобными объяснениями. Итоговая «история» может быть представлена в различных интерпретациях (даже графически, хотя реальные социальные траектории не отличаются простотой и прямолинейностью), в равной степени правдивых и фрагментарных. Крайне редко она сопровождается комментариями исследователя, поскольку сам текст в неявной форме содержит аналитические выводы.

Следующую после краткого социологического пересказа градацию занимает *анализ нарративов с помощью метафоры сценария* как некоего набора адекватных культуре нормативных образцов поведения в определенной сфере повседневных практик [Гендерные тетради, 1999, с.22-24]. Первоначально сценарии рассматривались на двух микроуровнях – интрапсихическом (планы на будущее, руководство в текущих действиях) и межперсональном (социальные взаимодействия). Позже в сценарии был добавлен третий уровень – «культурные инструкции», или знание о том, что такое «хорошо»/«плохо» и какие концовки имеют различные типы нарративов. Включая в себя одновременно культурные и индивидуальные программы поведения, сценарии позволяют людям и предвосхищать свои поступки, и оценивать их в различных ситуациях: человек постоянно осуществляет творческий «отбор» собственной стратегии поведения из существующего спектра типических «правил» [Судьбы людей…, 1996, с.298]. В рамках конкретного сценария индивид придает своему опыту определенные значения, поэтому предметом исследования становятся не сами жизненные практики, а те значения, которыми наделяются их конфигурации в результате «заключения автобиографического пакта с самим собой» [Козлова, 1999]. Поскольку идентичность процессуальна и количество идентичностей неограниченно, нарратив можно интерпретировать как историю смены идентичностей, а рассказывание о себе – как род действия, направленного на убеждение слушателей в своей правоте.

В рамках сценарной интерпретации «история» информанта предлагается читателю частично в прямой речи, хотя и здесь вмешательство исследователя неизбежно из-за превращения устной речи в письменный дискурс, подчиненный правилам линейности и ясности. Комментарии и выводы исследователя подкрепляются ссылками на транскрипт интервью для контроля за правдоподобием конструируемого «самим» рассказчиком жизненного сценария, или же прямая речь информанта разбивается на блоки в соответствии с предложенными им тематизациями («поиск нового», внутрисемейные отношения, выбор профессии и т.д.) [Мещеркина, 2004, с.87-93]. В последнем случае необходимо выделить замысел «зачина» нарратива (как человек репрезентирует себя изначально) и проследить, насколько данная «рамочная» тематизация сохраняется в качестве рефрена всего повествования: ее сохранение – свидетельство того, что рассказчику удалось соблюсти собственную логику отбора событий и фактов (именно такойон видит свою жизнь).

Понятие *тематизации* в рамках сценарного подхода может заменяться на «измерение». Например, Е. Ярская-Смирнова и И. Дворянчикова [Семейные узы…, 2004, с.420‑452] выделяют два пересекающихся измерения в системе координат семейных связей инвалидов: 1) модель жизнеустройства – континуум смыслов между свободой и ответственностью; 2) собственная позиция по отношению к свободе и ограничениям, исходящим из семьи, – континуум смыслов между подчинением и сопротивлением структуре семейных отношений. Понятие тематизации может быть заменено и на выражение «биографический сюжет» [Здравомыслова, 2001, с.9-13]: в нарративе фиксируется ряд сюжетов, оказавших значимое влияние на формирование личности рассказчика («опыт послевоенной миграции», «выбор профессии», «карьера» и т.д.), а также фоновая тема – основа жизненного выбора в заданных структурных обстоятельствах (например, тема личной ответственности за своих близких).

Е. Мещеркина выделяет следующие этапы нарративного анализа в рамках сценарного подхода, ориентированного на поиск структур коллективного опыта (на примере автобиографии дочери репрессированных крымских татар) [Устная история…, 2004, с.33-37]: 1) определение рамочного фрейма, событийной логики и биографической процессуальности нарратива; 2) характеристика общей жизненной стратегии рассказчика и его окружения через отбор определенных секвенций текста в соответствующие кластеры (кластер этнических практик и кластер практик репрессирования) – получаются парафразы, «плотные» тематизированные описания, в которых сохраняется прямая речь рассказчика и последовательность появления секвенций в тексте (возникает образ этнической общины и личностного сопротивления мощи государственной машины); 3) в случае наличия нескольких «историй жизни» проводится сравнение полученных парафразов и формируется обобщенное описание социального времени и порожденных им коллективных практик.

В рамках сценарного подхода особое значение придается *метафорам*, которые могут характеризовать и весь нарратив в целом, и отдельные его компоненты: «человеческая субъективность строится с помощью рефлексивного выстраивания репрезентаций … мы постоянно находимся в пространстве языка, создавая метафоры своей личности и собственного понимания себя; человек как субъект есть нечто, сконструированное с помощью метафор» [Кюглер, 2005, с.25]. Такие эмоциональные выражения, как «из грязи в князи», «счастливое совпадение» и т.д., демонстрируют понимание человеком причинности, социальной или индивидуальной детерминации. В основе метафоры лежит сравнение в личном опыте текущей информации и пережитого в прошлом с помощью следующих механизмов: сравнения несравнимого, допущения возможности невозможного, множественного единства (сочетания буквального словесного выражения и нового смысла). Метафоры реализуют познавательную функцию (формирование новых и раскрытие существующих смыслов), оценочную (метафоры – «ключи памяти» к ценностно-окрашенным воспоминаниям), эмотивно-оценочную (достижение экспрессивного эффекта), а также функцию создания образной речи [Уилрайт, 1990, с.82-109]. Метафора синтезирует знания человека о мире: если бы метафорическое измерение было устранено из языка, наше представление о мире распалось бы на множество несвязанных и трудно обрабатываемых единиц информации [Анкерсмит, 2003а, с.298].

Наличие метафор, аккумулирующих смысл происходящих поворотных событий и позволяющих экономно обходиться с ресурсом памяти, – текстуальная особенность биографических описаний. По сути, метафора «эквивалентна некоей индивидуальной точке зрения, с которой нас приглашают посмотреть на действительность» [Анкерсмит, 2003, с.16] (поэтому метафоры эффективны для достижения политических целей): метафора «антропоморфирует» социальную и физическую реальность, превращает незнакомую действительность в знакомую, описывая ее в известных терминах. В биографических повествованиях метафорические высказывания оказываются «сумматорами» нарративов, поскольку определяют, каково будет их буквальное содержание (конкретные высказывания о прошлом).

Р. Францози дополняет сценарный подход рядом приемов лингвистического анализа. В качестве примера он рассматривает следующий нарративный пассаж некоего Невилла [1998, p.528-544]: *«Когда жена выгнала меня из дома, несколько недель я жил в своей машине. Будучи бездомным, она не разрешала мне видеться с сыном… Я очень скучал по Рики. Друг посоветовал мне прийти в Приют. Я сомневался … боялся идти, но все оказалось просто прекрасно. Это немного напоминает отель, здесь очень чисто и персонал отличный. Моя жена поступила очень хорошо − пришла проверить, где я живу, и теперь позволяет сыну навещать меня. Приют позволил меня восстановить связь с семьей…».* Францози определяет данный текст как нарратив, поскольку он описывает темпоральный характер человеческого опыта, показывает значимое изменение ситуации и содержит нарративные фразы (сообщают о начале и конце процесса изменения отдельного объекта, который в большей или меньшей степени остается самим собой) и ненарративные (дескриптивные) фразы, расположенные в хронологическом порядке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Последовательность фраз** | **Последовательность событий** | **Нарративные**  **предложения** | **Дескриптивные**  **предложения** |
| 01 | Т1 | Когда жена  выгнала меня  из дома |  |
| 02 | Т2 | Несколько недель  я жил  в своей машине |  |
| 03 |  |  | Будучи  бездомным |
| 04 |  | Она не разрешала мне видеться  с сыном |  |
| 05 |  | Я очень скучал  по Рики |  |
| 06 | Т3 | Друг по  советовал мне |  |
| 07 | Т4 | Прийти в Приют |  |
| 08 |  |  | Я сомневался |
| 09 |  |  | Боялся идти |
| 10 |  |  | Но все оказалось  просто прекрасно |
| 11 |  |  | Это немного  напоминает отель |
| 12 |  |  | Здесь очень чисто |
| 13 |  |  | И персонал  отличный |
| 14 | Т5 | Моя жена  поступила  очень хорошо |  |
| 15 |  | Пришла  проверить,  где я живу |  |
| 16 | Т6 | И теперь  позволяет сыну  навещать меня |  |
| 17 |  | Приют позволил меня  восстановить связь с семьей |  |

Фабула и сюжет здесь совпадают с минимальным доминированием сюжета, что типично для простых историй, где нарративная компетентность автора позволяет ему упорядочить исходный «сырой» материал в последовательность событий. Выбор «фактов» и несоответствие нарративной и реальной длительности событий указывает на желание автора не привлекать внимание читателя к факту изгнания из дома (драматическое вступление «Когда жена выгнала меня из дома» является фоном для следующего высказывания «Несколько недель я жил в своей машине»), а акцентировать состояние бездомности. Подобное описание фона и авансцены, умалчивание причин действий и подчеркивание их трагических последствий позволяют автору настойчиво предлагать читателю свое определение ситуации: выбор фонового («будучи бездомным») и основного («она не разрешала мне видеться с сыном») высказываний (глагол «не разрешала» указывает на повторяемость и волевой аспект запрета) характеризует поступки жены Невилла как немотивированные и подлые.

Скрытая каузальная аргументация нарратива позволяет Францози интерпретировать его как своеобразный мужской манифест против женщин: Невилл не упоминает ни одной причины, по которой жена выгнала его из дома (может быть, он грубо обращался с ней, не выполнял домашних обязанностей, заводил интрижки на стороне, был пьяницей или наркоманом), поэтому «оказывается» жертвой немотивированного, бессмысленного поступка. Дальнейшие подсказки (Невилл скучает по сыну, ценит уют, у него есть друзья) также формируют позитивный образ бездомного, безобидного и глубоко оскорбленного в своих отцовских чувствах человека.

Поведение жены Невилла характеризует ее как уверенного в себе человека с сильным характером: она выгоняет, она не разрешает, она проверяет, она позволяет – все это властные действия. Намеренно или нет, Невилл представляет себя слабохарактерным человеком – он испуган, смущен, растерян. В нарративе происходит смещение стереотипных гендерных ролей мужской агрессивности и женской пассивности, что вполне объяснимо, если предположить, что Невилл – выходец из низшего социального класса. Это подтверждают отсутствие у него финансовых возможностей для достойной жизни и отстаивания прав на ребенка в суде, а также лингвистические характеристики повествования – в частности, многоточия (говорят о неуверенности), «пустые» прилагательные («великолепный», «отличный») и усилители («очень скучал», «очень чисто»). То, что кажется Невиллу привлекательным в Приюте («чисто», «похож на отель»), характеризует восприятие представителя низшего класса: «процент выборов, подчеркивающих эстетические характеристики (гармоничность, изысканность, творческий подход), возрастает с продвижением вверх по социальной лестнице, тогда как процент функциональных предпочтений (чисто, практично) заметно снижается» [Franzosi, 1998, p.538].

Смесь лингвистических кодов интеллигента (прилагательные типа «смущенный» и сложные синтаксические конструкции) и малообразованного человека (просторечия типа «позволил меня») наряду со сменой грамматического субъекта в конце повествования (Приют «вытесняет» сильную и властную жену Невилла как агента социального позволения) приводят Францози к мысли, что нарратив Невилла может быть просто рекламой Приюта для бездомных. Тогда Невилл не автор, а вымышленный персонаж. Стремление создать реалистичный рекламный нарратив заставляет настоящего автора использовать риторический прием отказа от собственного «голоса». Учет лингвистических нюансов повествования в сценарном анализе нарратива позволяет увидеть в тексте рекламу Приюта или женоненавистнический манифест: действия жены Невилла определяют вторую трактовку, нарушая жизненное равновесие; образ Приюта – первую, инициируя счастливое разрешение проблемной ситуации. Однако нарратив организован так, что его начало оказывается фоном, а конец – авансценой, т.е. рекламный эффект акцентируется. Таким образом, лингвистический аспект сценарного анализа помогает понять взаимосвязь между отдельными словами текста, между данным текстом и множеством других (например, рекламных текстов), между текстом и социальной реальностью, развивая, тем самым, социологическое воображение: в нескольких фразах можно «увидеть все многообразие социальных отношений (гендерных, классовых) в современном обществе» [Franzosi, 1998, p.547].

*«Обоснованная теория»*

Срединную позицию на нашей условной шкале «прикладного» нарративного анализа занимает ряд «аналитических и интерпретативных процедур, которые используются для получения данных или теорий, включают техники для концептуализации данных» и обозначаются А. Страуссом и Дж. Корбином как *последовательное кодирование* [2001, с.18]. В количественном исследовании кодировка – рутинная техническая процедура, в качественном – способ организации исходных данных посредством их уплотнения, укрупнения, категоризации. Коды – это «аббревиатуры или символы, прилагаемые к сегментам текста, чтобы их классифицировать… и разместить в кластеры, относящиеся к определенным вопросам, гипотезам, концепциям или темам» [Готлиб, 2002, с.158‑159].

В результате использования процедур последовательного кодирования формируется «обоснованная теория, или теория, которая индуктивно выводится из изучения феномена, который она представляет, т.е. она создается, развивается и верифицируется в разных условиях путем систематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому феномену» [Страусс, Корбин, 2001, с.21]. «Обоснованная теория» призвана показать символические значения, которые люди придают своим действиям и объективным условиям жизни. Исследователь начинает не со статистически разработанной выборки, а исходит из отдельного случая, который тщательно анализируется; затем он ищет другие случаи, которые были бы сходны с первым (минимальное сравнение) или явно отличались от него (максимальный контраст), – эта поисковая стратегия обозначается как *теоретическая выборка*. Именно она обеспечивает репрезентативность (в первую очередь, не субъектов, а понятий) и согласованность «обоснованной теории» [Васильева, 1996, с.60]. Задача исследователя – выстроить теоретическое объяснение феноменов, точно определенных с точки зрения условий, действий и следствий, а не обобщений.

Формирование «обоснованной теории» проходит в несколько *этапов*:

1. Открытое кодирование – идентификация и развертывание понятий с точки зрения их свойств и измерений посредством маркировки подобных случаев «ярлыками» и группировки в категории. Кодирование можно проводить по предложениям, параграфам или всему документу, но акцент должен быть сделан на «априорных» кодах (их используют сами информанты). Если первоначально данные будут помещены в категорию, к которой они не принадлежат, то посредством сравнения по признакам подобия и различия ошибка будет локализована.
2. Осевое кодирование – связывание субкатегорий с категорией в рамках некоторой модели «парадигмы кодирования», т.е. развитие каждой категории с точки зрения ее каузальных условий, измерений (свойств и контекста) и стратегий взаимодействия с другими категориями.
3. Избирательное кодирование – выбор центральной категории из уже идентифицированных (или формулировка более абстрактного понятия) и связывание всех значимых категорий с ней и друг с другом для создания четкой линии аналитической истории изучаемого феномена (может быть изображена в виде интегрирующей все категории диаграммы).

Таким образом, по мере интерпретации частной информации о прожитой жизни исследователь описывает и структурирует данные в социологических понятиях, а затем формулирует гипотезы, вытекающие из конкретного социально и исторически контекстуализированного жизненного опыта. Подобная техника не ведет к генерализации, но помогает увидеть все разнообразие форм протекания того или иного общественного процесса, которые кажутся стандартными в рамках массового обследования. Методика «обоснованной теории» позволяет переходить от нарративов личного опыта, спровоцированных вопросами исследователя, к «высказываниям, претендующим на типологическую плотность» в релевантном для темы исследования фокусе (категории родительства, семьи, образования, профессии и т.д.), с помощью следующих шагов [Устная история…, 2004, с.223‑253]:

1. разбиение нарратива на секвенции;
2. уплотнение секвенций до кодов и «конденсация типологических структур биографического пути» до момента насыщения тезауруса кодов;
3. оценка частоты встречаемости кодов и их ранжирование от наиболее до наименее упоминаемых;
4. переформулирование кодов, которые пересекаются по смыслу, в более общие коды (например, для кодов «невыход замуж» и «развод» общей является ситуация одиночества);
5. дифференциация полученных кодов на «семантические ядра» (например, «комплекс проблемной частной сферы», «комплекс нереализованного образовательного и/или профессионального пути», «комплекс неудовлетворенности жизненным проектом») и периферийные по отношению к ним коды (код роли домохозяйки частично входит в «комплекс удовлетворенности жизненным проектом», но не покрывается им целиком);
6. описание коллективного биографического опыта как совокупности сформулированных кодов.

«Качество» «обоснованной теории» оценивается по следующим критериям: 1) надежность, достоверность и вероятность данных; 2) состоятельность и ценность теоретических формулировок; 3) адекватность исследовательского процесса; 4) эмпирическое обоснование выводов [Васильева, 1996, с.64]. Для выработки «обоснованной теории» необходимо совместное обсуждение текста, так как групповой анализ способствует интеграции кодовых понятий в гипотезы и повышает теоретическую чувствительность исследователей. Например, мини-теория факторов успешной/неуспешной социально-экономической адаптации жителей Самарской области была сформирована в ходе коллективного анализа текстов нарративных интервью по методике «обоснованной теории», причем в результате обсуждения априорные коды информантов «тогда», «все» и «мы», «нормально» были преобразованы, соответственно, в «тогда и сейчас», «мы–другие» и «уровень притязаний» [Готлиб, 2002, с.263‑266].

В последние годы методика кодирования транскриптов подвергается критике за то, что «вырывает слова из контекста и тем самым теряет выраженный в нем жизненный опыт» [McCormack, 2000, p.283] (речь идет о так называемом «кризисе репрезентации»). Процедура разбиения нарратива на секвенции и, далее, на фразы (которые могут состоять всего из двух-трех слов), а затем их реорганизация под выделенными ключевыми кодами основана на убеждении, что нарративы слишком длинны и сложны, поэтому их проще понимать, если они сегментированы. Конечно, подобные манипуляции сами по себе не гарантируют полного понимания нарратива – по сути, так исследователь конструирует «искусственное» повествование, которое может значимо отличаться по смыслу от первоначального. Выходом из «кризиса репрезентации» стало «интуитивное, эмоциональное, историчное, поэтичное и эмпатическое» отношение исследователей к информанту, выразившееся, в частности, в том, что социологи стали включать транскрипты интервью в отчеты и статьи.

Как показывает практика работы с нарративами личного опыта, в социологии вполне возможно сочетание разных аналитических приемов в одном исследовательском цикле. Так, например, для изучения особенностей социализации детей с диагнозом умственной отсталости в школах-интернатах Е.Р. Ярская-Смирнова [1999] предложила метод прочтения нарративов в «метафоричной интеракционистской манере», который объединяет в себе сценарный подход и метод «обоснованной теории». На первом этапе исследования проводилось неструктурированное чтение повествований детей: исследователи не знали, кто и когда написал тексты, – их задача заключалась в поиске спорных, дискуссионных моментов, доступных множественной интерпретации. В четырех группах по 4–5 человек один участник зачитывал повествования вслух, остальные задавали вопросы о наиболее существенных моментах текстов, кто-то делал записи в таблице «что я вижу» и «что это может означать». После краткого отчета о том, что им удалось узнать, группы продолжали чтение нарративов в рамках одного из четырех сценариев социального контекста их формирования: тексты написаны детьми табора, беженцами, детьми из далекого племени или из прошлого.

После обмена результатами прочтения нарративов в рамках предложенных сценариев на третьем этапе исследования тексты анализировались с точки зрения образа социального будущего (профессии, образования), представлений о семье и гендерных идеалов авторов. Уже зная, что нарративы созданы детьми с умственной отсталостью, участники коллективной дискуссии пытались определить, из какой социальной страты выходят и какую, вырастая, пополняют респонденты. На последнем этапе работы исследователи пытались охарактеризовать социализационную норму человека со стигмой в зависимости от места и времени ее приобретения: дети, живущие в закрытых учреждениях и получающие там представление о собственной инаковости и социальной норме; дети с особенностями развития, живущие в семьях и находящиеся некоторое время в защитной информационной капсуле; взрослые, приобретающие стигму, уже зная о том, что есть норма и патология, – все они располагают разными возможностями адаптации в обществе, которое отказывает им в праве входа в мир нормальных социальных отношений и ролей.

Итак, судя по нашей условной шкале, нарративный анализ – это обозначение совокупности конкретных приемов работы с текстовыми данными, которые различаются по степени формализации и фокусу исследовательского интереса. Все они укладываются в *общую схему анализа «жизненных траекторий»,* которая включает в себя два этапа: 1) систематизацию повествований и выбор для социальных измерений конкретных характеристик, имеющих свои временн*ы*е рамки (образование, работа, брак, дети, миграция, ограничения в правах, привилегии и т.д.); 2) изучение описываемых событий с точки зрения принятия и совершения осознанных решений (действия ради осуществления целей, реализация ожиданий и т.д.) [Судьбы людей…, 1996].

После тщательного анализа конкретного биографического опыта в «социальной мозаике жизни» выделяются определенные социальные типы[[19]](#footnote-19), обобщающие жизненное разнообразие и помогающие выйти на проблемы глобального характера (модели «социального успеха», межпоколенная трансмиссия социального статуса, гендерные аспекты социальной идентичности и т.д.). «Мы представляем себе каждого человека как тип, мысленно подводим его, наряду со всей его единичностью, под некую всеобщую категорию, причем, конечно, человек не полностью охватывается ею, а она не полностью охватывается им … мы видим в человеке не чистую индивидуальность, но тот всеобщий тип, к которому его причисляем» [Зиммель, 1994, с.105]. При построении концептуальных схем ученый неизбежно замещает реальных людей «куклами», «конструирует идеальные типы акторов» [Шютц, 2003, с.111]. Исследователь может понять смысл действий информанта именно потому, что при всей его уникальности большая часть индивидуальных смыслов типична и интерсубъективна.

Описанные выше приемы нарративного анализа укладываются и в *классификацию* *методов интерпретации автобиографических текстов глубоких интервью* [Белановский, 2001]: 1) конструирующий метод (анализ автобиографий под углом зрения изучаемой проблемы на основе некоторой социологической теории); 2) метод примеров (иллюстрирование и подтверждение тезисов/гипотез выбранными из автобиографий фрагментами); 3) типологический анализ (выявление определенных типов личностей, схем и образцов поведения в исследуемых социальных группах); 4) контент-анализ; 5) статистическая обработка (установление зависимости характеристик авторов от их позиций и от свойств социальных групп).

В целом варианты «прикладного» нарративного анализа сводятся и к *двум моделям контент-анализа*, выделяемым на основе различия задач исследования [Таршис, 2002, с.74-88]: традиционная частотная модель предполагает описание содержания текста в рамках уже обоснованных параметров; нечастотная – открытие «формулы» содержания текста и характеристику состояния субъекта, создавшего текст. Нечастотная модель всегда используется в авторском исполнении, ориентирована на обнаружение нового феномена и оценку его распространенности. Исходная предпосылка нечастотного контент-анализа состоит в том, что фактический объект изучения (текст) должен адекватно отражать реальный: 1) текст должен принадлежать реальному информанту; 2) текст должен быть создан без каких-либо форм давления на человека и с минимальным воздействием исследователя; 3) объем анализируемого текста должен обеспечивать реализацию цели исследования (искомый элемент структуры содержания должен попасть во включенный в анализ текст).

Таким образом, выделение нарративного анализа в отдельную область качественной социологии (как конкретной стратегии, тактики или метода исследования) оказывается невозможным не только с точки зрения теоретической интерпретации понятий, но и в плане практической работы с нарративами личного опыта. Под нарративным анализом следует понимать совокупность методов – от формального до вольного, с участием рассказчика и без него, совместимых или несовместимых друг с другом – побуждающих исследователя не торопиться с выводами, а внимательно рассмотреть текст в его целостности и одновременно детализированно (символические образы, лингвистические нюансы, тематика, явный и скрытый смыслы).

Требования к результатам анализа нарративов можно свести к двум общим, которые относятся к качественной методологии в целом: 1) аналитическое обобщение результатов нарративного анализа не снимает с исследователя ответственности за строгость представленных выводов, которая достигается отражением социального феномена с разных точек зрения, сочетанием фрагментов разнообразных исследовательских практик; 2) несмотря на отказ от теоретических предпочтений, терминологические нововведения должны осуществляться традиционно научными способами, главным образом посредством калькирования понятий «количественной» методологии. Результаты нарративного анализа не претендуют на репрезентацию рассматриваемой общности – изучение отобранных случаев проводится исключительно с целью реконструкции типов идентификационных стратегий в рамках определенных жизненных практик или ценностей. Однако никакой текстуальный анализ не допускает экспликации выводов на широкий социокультурный контекст на основании интерпретации единичного жизненного опыта – необходимо несколько нарративов, чтобы можно было сравнить различные стратегии людей, принадлежащих к одной и той же социальной среде.

*Критерии валидности нарративного анализа*

Исследователи предлагают четыре критерия валидности нарративного анализа [Ярская-Смирнова, 1997]: 1) критерий убедительности – убедительность больше там, где теоретические положения подкрепляются свидетельствами информантов и предлагаются альтернативные варианты интерпретации данных; 2) критерий соответствия – если реконструкция смысла узнаваема для респондентов, то соответствие считается достигнутым; 3) критерий связности – а) глобальная связность характеризует общие цели рассказчика; б) локальная связность относится к тому, на что рассказчик пытается влиять в самом повествовании и какими лингвистическими средствами; в) тематическая связность подразумевает связность содержания; 4) критерий прагматического применения показывает, становится ли данное исследование основой для других работ.

Валидизация нарративного анализа, как и любой интерпретативной работы, не может быть сведена к набору формальных правил или стандартизированных технических процедур. Для обеспечения валидности данных, подверженных стилизации со стороны исследователя, необходимо «постоянно возвращаться к транскрипту интервью для контроля над аутентичностью интерпретаций» [Судьбы людей…, 1996, с.237]. Главным условием валидизации результатов нарративного анализа является соблюдение *«правила триангуляции»* – повышение надежности выводов путем идентификации изучаемого феномена на пересечении различных методов сбора и анализа информации, перспектив различных участников изучаемой ситуации, интерпретаций различных исследователей (полученное знание обретает конвенциональный характер), а также с помощью временн*о*й (повторные исследовательские проекты) и пространственной (сравнительные исследования) триангуляции данных [Готлиб, 2002, с.164; Устная история…, 2004, с.136]. Кроме того, для адекватного понимания нарратива следует рассматривать его в целостной законченности, т.е. даже секвенционный или «построчный» анализ должен сопровождаться «сквозным» просмотром повествования.

***Области применения нарративного анализа***

В последние годы в социологии достаточно четко обозначились те предметные области, в которых обращение к понятию нарратива стало обычной исследовательской практикой. *Социология знания* рассматривает научный текст как компонент литературного процесса с присущими ему жанровыми и функционально-стилистическими особенностями, чтобы выявить в нем социально институционализированную иерархию ценностей и объяснить процесс коллективного производства знания в ходе научной коммуникации [Воробьева, 1999, с.98]. Научные тексты обозначаются как нарративы (в них присутствуют рациональные и риторические элементы, буквальное и метафорическое измерение), и нарративный анализ обычно проводится с помощью контент-аналитических процедур.

*Военные социологи* используют нарративы для «анализа военной тематики на уровне повседневности» [Кьяри, 1996, с.248]: изучение биографических свидетельств помогло представить поражение вермахта в реальном свете, освободив этот факт от мифологизации – «экранизация «повседневной истории» в большей степени способствовала избавлению немецкой общественности от стереотипов, нежели многие исторические труды» [с.250]. Понятие нарратива в данном случае обозначает любые биографические данные (записки, документы, дневники, письма, разговоры и т.д.), подчеркивая субъективный характер изучаемого материала.

Исследователи в области *массовой коммуникации* рассматривают новости как нарратив [Дерябин, 1998], поскольку в них можно выделить главных и второстепенных действующих лиц, «героев» и «злодеев», а также последовательно развивающееся действие, которое соответствует привычным для аудитории сценариям и имеет начало, середину, конец и маркированные драматические повороты в сюжете. Нарративный анализ новостей – это изучение задействованных в них нарративных стратегий (анекдот, сказание, притча) и коммуникативных компетентностей зрителя (рекреативной, регулятивной). Он позволяет понять, как новостному жанру удается сохранять соответствие критериям объективности и непредвзятости, одновременно выполняя функции идеологического медиума: идеологически оформленное освещение событий достигается с помощью риторических приемов избирательного умалчивания, акцентирования и дозирования информации [Franzosi, 1998, p.531].

Так, исследования освещения забастовок английской прессой и телевидением показали, что причины забастовок упоминаются лишь вскользь, а акцент делается на их разрушительных экономических последствиях. Анализ освещения деятельности радикальных групп обнаружил те же механизмы систематических смещений – описывалось протестное поведение групп, а не предлагаемые ими идеи и определения ситуации. Контент-анализ новостного «обрамления» бомбежек Косово в ключевых американских средствах массовой информации показал, что сложные социально-политические события в рамках югославского конфликта были упрощенно представлены как «преступления против человечества», а на Милошевича был наклеен «ярлык» жестокого и демонического исторического персонажа, аналогичного Гитлеру [Vincent, 2000]. Несмотря на то, что американское общество было разделено на противников бомбежек, шокированных актами насилия в отношении мирных жителей, и сторонников «гуманитарной интервенции», одобряющих военное вмешательство США, новостной дискурс отражал только последнюю точку зрения, следуя официальным идеологическим диспозициям.

Не только оценочные высказывания, объясняющие, зачем рассказывается история и в чем ее суть, но и сама нарративная структура новостей (связывание событий в логическую последовательность, структурирование действий в терминах мест и людей) помогает аудитории атрибутировать действующим лицам события определенные мотивы, облегчает придание смысла изначально фрагментированным и случайным наблюдениям. Таким образом, обращение к понятию нарратива в социологическом анализе массовой коммуникации упрощает работу с новостным материалом в структурном и содержательном плане.

Современные *исследования бедности* [Ярошенко, 1994] рассматривают этот социальный феномен не столько как отсутствие дохода, сколько как стиль жизни: низшие слои населения в условиях постоянной нужды вырабатывают особые установки, ценности и устойчивые модели поведения, которые социально наследуются и подчеркнуто отличаются от общепринятых. Выявление содержательных характеристик субкультуры бедности достигается посредством нарративного анализа – понятие «бедный» не является чисто структурным (социально-стратификационным), а включает в себя субъективные ощущения принадлежности к «безвластной» и «безгласной» категории граждан. Поскольку «слова являются отправной точкой при описании нашей социальной реальности, лингвистические сети служат способом конструирования нашего мира» [Коетцы, 2002, с.28], анализ нарративов личного опыта позволяет бедным декларировать свои взгляды и участвовать в постановке конкретных целей общественного развития – рассказчики выступают в роли «экспертов» собственной жизни, объясняющих, как они стали тем, кто они есть, и как переживают свое теперешнее состояние. Использование нарративов помогает «услышать» неуслышанные голоса и «увидеть» скрытые области жизненного опыта бедности, связанные со способами организации повседневных практик.

В рамках *гендерной социологии* нарративы личного опыта привлекаются, в первую очередь, для характеристики особенностей женской профессиональной карьеры. Например, в рассказах достигших профессиональных высот женщин доминируют следующие тематизации [Устная история…, 2004, с.39‑89]: 1) мотивация старта наверх (значимая позитивная или отрицательная ориентация на отца, желание реванша у судьбы, эстафета от матери к дочери); 2) биографический опыт в советское время (растворение личного в коллективном, механизмы карьерного роста, «стеклянный потолок» – невидимые барьеры на пути к социально-профессиональным вершинам); 3) адаптация в постсоветский период (новый виток самореализации или сохранение статусной позиции). Анализ нарративных интервью позволяет выделить несколько стратегий совмещения семьи и карьеры: наиболее оптимальна стратегия «поиска баланса» (признание равнозначности работы и семьи и стремление к равному распределению обязанностей в семье); позитивная, но маргинальная стратегия – «ответственное материнство» (приоритет семьи, но гармоничное сочетание профессионального развития и материнства); инструментальная по отношению к семье стратегия «манипуляторши» (жизненный приоритет – профессиональный рост – достигается за счет мужа-кормильца) и т.д.

В *социологии семьи* нарративы личного опыта привлекаются для реконструкции истории семьи на протяжении нескольких поколений в рамках меняющегося социального контекста. Важно показать не только типичность стратегий выживания в новых социально-экономических и исторических условиях, но и их индивидуальность как «частного проявления социально-типичного» [Судьбы людей…, 1996, с.11]. Например, конкретный опыт создания семейных коммуналок как способ недопущения вторжения «чужих» в частное жилищное пространство в период санкционированной государством политики расселения уникален, но репрезентирует одну из типичных стратегий социальной адаптации и реинтеграции в новое общество представителей сметенных революцией 1917 г. социальных слоев – использование личных связей (другие стратегии – использование высокого образовательного и профессионального статуса и территориальная мобильность) [с.245-263]. Обращение к нарративам личного опыта здесь обусловлено тем, что «культурная память перешагивает через эпохи и поддерживается нормативными текстами, а коммуникативная память связует поколения через устно передаваемые воспоминания» [Устная история…, 2004, с.14]. Обычно история семьи реконструируется через жизненные траектории представителей разных ее поколений, отраженные в биографических повествованиях членов семьи.

В западной традиции нарративный анализ широко применяется в рамках *социологии здоровья и медицины* [Jones, 2000; Riessman, 2003]. Например, знаменитое исследование Б. Глейзера и А. Страусса, по материалам которого была разработана методика «обоснованной теории», проводилось в шести больницах Сан-Франциско для определения устойчивых типов взаимодействия между пациентом, пер­соналом больницы и родственниками пациента в ситуации осознания вероятности фатального исхода. Базовое допущение данного направления социологических исследований состоит в том, что серьезные заболевания (рак, СПИД, сердечные приступы) и различные повреждения, ведущие к физической неполноценности, способны изменить отношение человека к жизни и смерти, его систему ценностей и образ жизни (становятся моментами эпифании). Подобные нестандартные жизненные ситуации предполагают интенсивное эмоциональное переживание и угрожают самоидентичности. Для исследователя в нарративе больного важна «правда» не в объективном смысле, а в плане отражения уникального человеческого опыта в свете существующих социокультурных моделей. Для информанта нарратив – возможность привести в порядок свои мысли и чувства, более адекватно отнестись к заболеванию и выйти из стрессового состояния [Miczo, 2003, p.470-474]. Например, нарративы больных СПИДом и их родственников анализируются для оценки степени стигматизации людей и их исключения из устоявшегося социального окружения. В отечественной социологии жизненные трагедии указанного типа рассматриваются как одна из причин воцерковления во взрослом возрасте: вера помогает человеку справиться с кризисной ситуацией, примириться с постигшим его горем и продолжить жить дальше [Устная история…, 2004, с.153-180].

Обращение к нарративам личного опыта наиболее плодотворно в рамках *социологического изучения феномена одиночества*, потому что он имеет объективное (стабильная ситуация ограниченности коммуникативных, эмоциональных и духовных связей человека с другими людьми) и субъективное измерение (не всегда верное определение себя в качестве одинокого человека) [Шагивалеева, 2003]. В негативном смысле одиночество – неадекватная форма самосознания, переживание разрыва связей и отношений с другими людьми, утрата идентичности; в позитивном – уединение, которое помогает раскрыть свои способности, понять себя [Уледова, 1999], может быть как объективным (необходимый процесс формирования личности), так и субъективным (сознательное добровольное самоустранение из чуждых социальных связей) [Шмелев, 2004].

Собственно социологическая трактовка феномена одиночества состоит в соотнесении его объективной основы с индивидуальным опытом переживания: безработные, пенсионеры, люди в местах заключения, лечебных учреждениях, сменившие место жительства и др. подвержены чувству одиночества, но стратегии его переживания и преодоления различны. Например, демография считает одинокими женщин, не состоящих в браке, вдов и разведенных. Социология дополняет эти критерии психическим состоянием человека, возрастными границами (старше 25 лет) и фактом отсутствия постоянного жизненного партнера [Романова, 2002]. Изучая методом глубинных интервью жизненные стратегии матерей-одиночек, М. Киблицкая пришла к выводу, что в российском обществе доминирует стереотип ненормальности и неправильности воспитания ребенка в неполной семье, который формирует у матерей-одиночек «комплекс неполноценности» – «феномен отсутствующего плеча» чаще угнетает женщину не потому, что она действительно в нем нуждается, а в силу наличия в общественном мнении стереотипа «нормальности» обладания им [1999].

Анализ нарративов личного опыта позволил выделить два типа жизненных стратегий одиноких женщин (пред)пенсионного возраста [Романова, 2002]: конструктивные стратегии самореализации и неконструктивные стратегии выживания. Около 80% женщин придерживаются тактики защитного, избегающего поведения, оценивая свою жизненную ситуацию как однозначно негативную и основным выходом из одиночества считая обретение постоянного партнера (среди всех одиноких женщин старше 25 лет 42% видят уход от одиночества только в создании семьи). С.Л. Вербицкая [2002], проинтервьюировав считающих себя одинокими людей в возрасте от 17 до 45 лет, выделила группы с высоким, средним (адаптивным) и низким уровнем переживания одиночества по критерию отношения к себе и окружающей жизни (оценки прошлого и настоящего, прогнозы на будущее, эмоциональное состояние). Конструктивные стратегии адаптации к одиночеству включают в себя «социальную поддержку», «высокую активность», «принятие себя и своего состояния», «социальную отстраненность» или «религиозный путь», поскольку все они основаны на позитивной динамике переживания одиночества (мотивации к изменениям).

Утверждая, что любой нарратив представляет собой практику исключения (содержит описание нескольких нетипичных событий из жизни рассказчика), Е.Р. Ярская-Смирнова [1997] использует нарративы в *социокультурном анализе нетипичности* как реальности, в которой приходится жить людям с особой внешностью и опытом переживания повседневности. Созданная посредством социокультурного анализа социальная, а не патологическая модель инвалидности, показала, что, например, сами глухие относят себя не к дефектным, а к людям со специфическим способом коммуникации [1999]. Ярская-Смирнова изучает жизненный опыт людей, имеющих задержки развития и вытесненных в результате этого на периферию общественных отношений, анализируя нарративы с точки зрения контекстуальных оснований конструирования смысла. В изучении инвалидности важны не столько формальные показатели состава семьи и срока инвалидности, сколько эмоциональные качества семейных отношений, складывающиеся под влиянием появления человека с особыми потребностями. Несмотря на индивидуальные особенности биографических траекторий, нарративы инвалидов объединяет несколько ключевых тем (потребность самостоятельного выбора, признание важной роли семьи, новое отношение к жизни), которые связаны с неявным противостоянием социальным ожиданиям, приписывающим инвалидам пассивную жизненную позицию, состояние безысходности и иждивенческие настроения. Многие респонденты на собственном примере показывают, что инвалидность не судьба, что свою биографию они делают сами, с помощью родных и близких [Семейные узы…, 2004, с.423,435].

В целом Ярская-Смирнова сводит все социологические исследования биографических повествований к двум уровням: *макросоциологический подход* изучает воздействие общества и социальных институтов на индивидуальный жизненный путь; *микросоциологический* − «биографическую социализацию», те правила, которым следует индивид в течение жизни, соотнося с ними собственное ощущение того, кем он является. Соответственно, понятие нарратива позволяет соединить микро- и макроуровень анализа биографического повествования.

***Критика нарративного анализа***

Формирование проблемного поля нарративного анализа не будет полным без включения в него основных моментов критики данного исследовательского подхода. Сразу оговоримся, что критика референциальности нарративов личного опыта (бессмысленно говорить о реальной жизни за пределами текста или произнесенного слова, поскольку кроме текстов не существует других способов утверждать что-либо о жизни) в социологии неприемлема: тексты практически ничего не представляют в биографическом контексте, пока мы не даем им «кредит реальности», которую они стараются более или менее адекватно описать, а мы − понять и сделать понятным другим в коммуникации [Берто, 1997, с.17; Руус, 1997, с.10]. Как точно подметил Д. Берто, принятие «антиреалистической» критической позиции, по сути, будет означать конец социологической мысли [1997, с.18]. Она приемлема для философии (занимается миром идей), для литературы (занимается художественным вымыслом), для лингвистики, анализирующей взаимодействия между означающим и означаемым и не нуждающейся для этого в реальном референте, и даже для психологии, для которой значимо не столько то, что произошло с человеком на самом деле, сколько то, что случилось по убеждению рассказчика. История и социология не могут позволить себе подобного «антиреализма», поскольку нацелены на помощь своим современникам в лучшем понимании того мира, в котором они живут и который конструируют каждый день.

Итак, первое критическое замечание в адрес нарративного анализа касается его выводов – они опираются на «текст» в качестве эмпирического доказательства обоснованности и не содержат указания на критерии для сравнительной оценки различных «прочтений». Второе – излишне дескриптивного характера получаемых данных и опасности подмены научных объяснений высокохудожественными и субъективными повествованиями, в которых на смену внятным теоретическим представлениям и эмпирическим доказательствам приходят риторические фигуры и суггестивные авторские интонации.

Первое замечание относится к теории интерпретации в целом, поскольку проблема выбора между конкурирующими «прочтениями» не только в повседневной жизни, но и в науке решается на основаниях, обычно игнорируемых интерпретативным подходом: выбор определяется властью и интересами, а обосновывается с помощью риторики или ссылкой на вкус. Второе замечание – к любым социобиографическим данным: искажения фактов могут объясняться и намеренным сокрытием информации, и желанием защитить личную самотождественность, и простой неосведомленностью, и стремлением придать повествованию литературную форму с помощью популярного сценария жизненного пути [Голофаст, 2002, с.67; Девятко, 1998, с.53], и надеждой рационально мотивировать свое прошлое поведение с точки зрения сегодняшнего мировосприятия и создать социально-одобряемую и согласованную картину мира. Например, практически единственный источник информации о биографиях бомжей – их устные истории, но они вряд ли могут претендовать на роль «бесспорных свидетельств» [Судьбы людей…, 1996, с.185-186]: во-первых, таким людям почти всегда есть что скрывать; во-вторых, для самосознания человека, оказавшегося на социальном «дне», правда о собственной жизни может быть столь разрушительна, что вместо нее возникает масса надуманных объяснений и, казалось бы, вполне рациональных конструкций, которые имеют под собой мало реальных оснований – «память ненавидит человека, она только и делает, что оговаривает его; поэтому люди стараются не слишком сильно доверять ее напоминаниям и более снисходительно относиться к собственной жизни»[[20]](#footnote-20).

Что касается навязчивого стремления информантов придать своей биографии популярную литературную форму, то оно имеет давние исторические корни. Еще в античности сложились общепринятые формы (авто)биографических повествований [Бахтин, 2000, с.68‑84]: в древнегреческом мире (1) платоновский тип автобиографии был основан на хронотопе «жизненного пути ищущего истинного познания»; (2) риторическая (авто)биография была словесным гражданско-политическим актом публичного самоотчета реальных людей во внешнем реальном хронотопе (на площади); в римско-эллинистическую эпоху (3) энергетический тип биографии предполагал изображение человеческой жизни как развертывания характера в поступках, речи и т.д.; (4) в основе аналитического типа биографии лежала схема с определенными рубриками, по которым распределялся весь биографический материал (общественная жизнь, семейная жизнь, добродетели, пороки, наружность и т.п.). Поскольку семантические объяснения респондентов избирательны, имеют тенденцию смешивать действия и намерения и игнорировать существенные причинные связи, для их интерпретации в социологии используется модель «двойной герменевтики», т.е. социологи опосредуют семантические объяснения (интерпретации информантов) научными (выдвигаемыми исследователями интерпретациями интерпретаций) [Девятко, 1996, с.56].

То, что некоторое явление получает статус события или факта, уже предполагает процедуры концептуализации, типизации, категоризации и т.д.: «как бы ни определяли предмет, само определение уже является одной из операций этого предмета» [Луман, 2004, с.15], поэтому знание о нем не может рассматриваться как просто отражение неких объективно существующих вещей. М.М. Бахтин подчеркивает преобразующее воздействие означивания на содержание: «завершающие моменты, будучи осознанными самим человеком, включаются в сознание, становятся преходящими самоопределениями и утрачивают свою завершающую силу … «дурак, который знает, что он дурак, уже тем самым не дурак» [Улыбина, 2001, с.62].

Понятия «истинный» и «ложный», по сути, обозначают только некоторое измерение, правильность или уместность в определенных обстоятельствах перед определенной аудиторией для конкретной цели при заданных намерениях. Иными словами, то, что социологи называют искажениями, – конститутивные свойства человеческого сознания и языка. Сам факт вовлечения человека в коммуникативную деятельность изменяет его внутреннее состояние, заставляя вести и презентировать себя так, чтобы создать определенное впечатление у окружающих – «текст в коммуникации есть равнодействующая интенций и номинаций» [Дридзе, 2000, с.129]. Неизбежность искажений позволяет П. Бурдье утверждать, что «история жизни – это одно из тех понятий здравого смысла, которые незаконным путем проникли в научный мир» [2002, с.75-80]: человек становится идеологом собственной жизни и, следуя «законам официальной модели самопредставления», стремится превратить свою жизнь в хронологически упорядоченное и связное повествование, алгоритм создания которого (критерии отбора событий, образующих сюжетную линию) скрыт от исследователя и зачастую не ясен самому информанту [Божков, 2001, с.77].

Поскольку эмпирическому опыту искусственно придается целостность и единство, возникает методологическая проблема интерпретации того «зазора», который существует между реальностью жизни и реальностью рассказа о ней – «рассказывая свою жизнь, мы создаем форму, посредством которой распознаем в жизни то, что без этой формы не увидели бы» [Бурдье, 2002, с.80]. Текст не тождественен реальности, он только презентирует ее, поэтому происходит постоянное перетолкование текстов, ведущее человека к ситуации незавершенности. Более того, как бы реалистичен и правдив ни был изображенный мир, он хронотопически не может быть тождественен реальному миру, в котором находится автор: «даже если я расскажу (или напишу) о только произошедшем со мной событии, я как рассказывающий (или пишущий) нахожусь уже вне того времени-пространства, в котором это событие совершалось, абсолютно отождествить себя, свое «я», с тем «я», о котором я рассказываю, невозможно» [Бахтин, 2000, с.191].

Несмотря на перечисленные сложности, ценность биографических повествований для изучения связи между психологическим развитием и социальными процессами не позволяет отказаться от нарративного анализа, но требует от исследователя, во-первых, обладания определенным запасом концептуальных схем, чтобы читать и проблематизировать нарративы личного опыта; во-вторых, обеспечения достоверности информации с помощью множественной триангуляции – стратегии сочетания различных методов, типов данных и моделей объяснения.

#### *ЗАКЛЮЧЕНИЕ*

В последние десятилетия нарратив стал предметом значительного числа исследований не только как новый эмпирический объект анализа, но и как новый теоретический подход. Сложность однозначной трактовки нарратива связана с рядом причин: с открытым и многообразным характером культурной феноменологии нарратива – если рассматривать его как текстовую форму освоения реальности; с присутствием нарративных структур и элементов в различных типах дискурса – если понимать под нарративом совокупность универсальных характеристик «текста о» действительности; с «прозрачностью» нарратива, обусловленной врастанием человека с детства в рассказывающий истории репертуар языка и культуры – если видеть в нарративе естественный, само собой разумеющийся способ мышления и деятельности [Брокмейер, Харре, 2000]. В итоге определение нарратива формулируется через отказ от «онтологического заблуждения» (предположения о существовании вне нарративного процесса некой реальной истории, лишенной аналитической конструкции) и «репрезентационного заблуждения» (трактовки нарратива как описания реальности, а не специфического способа ее конструирования).

В своем общепринятом и обобщенном смысле нарратив – это «имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически, ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством … причем локальный репертуар нарративных форм переплетается с более широким культурным набором дискурсивных порядков, которые определяют, кто какую историю рассказывает, где, когда и кому» [с.30]. Соответственно, анализ нарративов позволяет увидеть в отдельно взятом повествовании конкретного человека, рассказанном в заданных пространственно-временных координатах определенному собеседнику, тот исторический и социокультурный контекст, который породил данный нарратив как симптоматический и типичный.

В социологии понятие нарративного анализа может показаться, с одной стороны, пустым – в силу претензий на совмещение в себе всех вариантов аналитической работы практически с любыми типами текстовых данных; с другой стороны – красивым синонимом качественного подхода в силу самопозиционирования как систематического способа изучения интервью и репрезентации качественных данных. Действительно, обладая всеми преимуществами и ограничениями микроподхода, нарративный анализ принадлежит качественной парадигме социологического знания. Понятие нарратива вводится в социологическое исследование, чтобы подчеркнуть интегрированность того или иного индивидуального случая в некий обобщенный и культурно установленный канон. Данное понятие «акцентирует внимание не на семантических проблемах описания событий, … а на том, что должно быть сказано, чтобы читатель понимал суть происходящего, логические взаимосвязи событий и функциональные зависимости между действиями людей и явлениями, включенными в нарративный эпизод» [Heise]. Нарративный анализ в социологии определяется широко – как анализ лингвистических и экстралингвистических характеристик речевого акта – и подразумевает понимание социальных отношений как укорененных в лингвистических практиках. Соответственно, понимание текста требует от социолога знания лингвистической проблематики, а понимание контекста – обращения к смежным дисциплинам.

Задача социолога – выделить особенности не нарратива как такового (это задача лингвистов), а самих социальных отношений, «вытаскивая» из множества текстов общие тематические линии, которые различаются своим преломлением в индивидуальных жизнях. «Истории респондентов» раскладываются на секвенции, а затем соединяются в связные и последовательные повествования, утрачивая единство и контекст первоначального нарратива и превращаясь в научные тексты в рамках социологической «литературы». Поскольку нарративы – это структуры придания смысла, необходимо уважать выбранный респондентом способ конструирования смысла и анализировать его актуализацию на основе нескольких методов работы с текстовым материалом, тогда даже простой подсчет частоты встречаемости слов может дать значимые данные.

Анализ нарративов личного опыта позволяет (1) выявлять коллективные представления людей как формы классификации социального мира, схемы восприятия и оценки жизненных явлений, неявные предпосылки деятельности; (2) определять варианты маркирования человеком собственного положения в социальных иерархиях (образы, «ритуалы», «стилизации жизни»); (3) оценивать степень актуализации в представителе группы ее социальных качеств [Козлова, 1999а, с.18]. Возможность распространения результатов анализа единичного нарратива на более широкий социокультурный контекст гарантируется понятием габитуса как типического содержания реакций человека на любую жизненную ситуацию, обусловленного его принадлежностью к определенной группе и воспроизводством ее коллективных социальных представлений: «в совместной деятельности группы возникает общая порождающая матрица практик людей, которые живут в сходных социальных условиях и обретают сходство биографий» [с.42]. Например, крестьянин – это тип, образ (стиль) жизни, габитус: несмотря на все многообразие конкретных крестьян, они имеют ряд общих черт (семейное домохозяйство на земле, традиционная культура, низшее положение в системе социальной иерархии)[[21]](#footnote-21).

Нарративы личного опыта, безусловно, субъективны, потому что являются результатом мобилизации навыков рассказчика в процессе говорения о себе, но они могут быть использованы как ступени в конструировании социологических описаний и интерпретаций, поскольку вносят в социологическое исследование измерение времени и показывают, что субъективные определения реальности являются и постоянно действующими детерминантами, и продуктом социального взаимодействия. Если заменить анкетный опрос серией нарративных интервью, ограниченных конкретным социальным феноменом, и соединить полученные таким образом рассказы о жизни, можно продвинуться не в направлении статистической репрезентативности, а к пониманию того, как происходят подобные явления, когда, где, почему и с кем. В этом смысле нарративный анализ оказывается вариантом реализации такой тактики качественного исследования, как «кейс-стади», а «любая дисциплина (в том числе социология) без большого числа тщательно проведенных кейс-стади (систематического производства образцовых примеров) неэффективна» [Фливберг, 2004].

Итак, словосочетание «нарративный анализ» одновременно является и метафорой аналитического потенциала социологии в отношении социобиографических данных, и понятием, обозначающим совокупность разнообразных приемов анализа текстовых данных различного происхождения. Наиболее приемлемое для социологии операциональное определение нарратива таково: это записанный и расшифрованный рассказ респондента о собственном жизненном опыте. Следовательно, нарративный анализ – это последовательность ряда аналитических процедур: «сквозное» прочтение нарратива, разбиение его на секвенции, выделение кодов (тематизаций), сведение тематизаций в несколько кластеров, выстраивание стратегии жизненного пути, итоговое «сквозное» прочтение нарратива.

Методы анализа нарративов личного опыта (как и любых социобиографических данных) трудоемки и занимают много времени, так как требуют внимания к нюансам речи, организации реакций, локальным контекстам и социальным дискурсам, оформляющим сказанное и невысказанное. Главная сложность этих аналитических приемов скорее не методологическая, а «гуманистическая»: события, стоящие за повествованием, «не из тех вещей, у которых есть отмеренный срок жизни, … они продолжаются, нарастают … и ваше понимание все равно не окончательное» [Бибихин, 2001, с.17]. Полное понимание нарративного эпизода невозможно, поскольку потребовало бы слияния читателя с автором. Чтобы в определенной степени гарантировать понимание текста, процесс «перевода» повествовательных конструктов респондента в теоретические положения исследователя должен проходить по следующей схеме: 1) акт доверия (текст рассматривается как полновесный, ожидающий и заслуживающий раскрытия символический мир); 2) схватывание конкретного смысла текста; 3) структурирование содержания текста респондента в соответствии с заданными критериями; 4) взятие на себя ответственности за «локализацию» автора, т.е. за нахождение или придание ему неких типических характеристик.

«Гарантировав» таким образом понимание текста респондента, социолог сталкивается с еще одной «гуманистической» проблемой: поскольку конкретное содержание нарратива есть во многом результат коммуникации, то каждый информант в принципе может «выдавать» целый ряд жизненных историй, в которых его жизненный опыт по-разному организуется. Эта проблема несущественна для нарративного анализа, поскольку, во-первых, любой рассказчик считает каждое из своих повествований истинным просто потому, что его самоописания кажутся ему аутентичными в момент их наррации; во-вторых, мы обладаем знанием прошлого в том виде, как оно выражено в нарративном языке, – «когда вы прочли нарратив, вы прочли нарратив, и к этому добавить нечего» [Анкерсмит, 2003а, c.34].

Таким образом, нарративный анализ как совокупность приемов работы с текстовыми данными социобиографического характера позволяет прояснить, насколько случайно использование определенных терминов и выражений для конкретной культурной и исторической ситуации, которая воспринимается рассказчиком как должная, естественная и неизбежная. Введение в социологический оборот понятия «нарративный анализ» приводит к некоторым затруднениям в связи с необходимостью проводить различия между понятиями нарратива и дискурса, нарратива и жизненной истории и т.д. Приверженцы нарративного подхода считают, что сама реальность носит нарративный характер и потому позволяет применять концепты нарратологии к новым объектам и переописывать их в связи с распространением на новое поле исследования. В социологии результатами подобного «переописывания» оказываются относительно устоявшиеся понятия качественного социологического исследования, что и объясняет терминологическую путаницу.

Вероятно, тенденция обращения к нарративу в социологии – это в значительной степени интеллектуальная мода среди приверженцев качественного подхода, которая возникла под влиянием работ западных социологов. Поскольку любая методологическая точка зрения частична, неполна и исторически ограничена (что требует полифонии репрезентаций), нарративный анализ оказывается подходом, удобным в одних исследовательских ситуациях и неприменимым в других. Соответственно, определение «статуса» нарративного анализа в корпусе социологического знания зависит от позиции ученого. Если он сторонник нарративного анализа, то сформулирует массу логичных доводов в пользу его научной состоятельности, если противник – выдвинет не меньше доводов в пользу его теоретической и методической несостоятельности. Тем не менее, следует признать, что у нарративного анализа есть своя четкая логика. Н.Н. Козлова и И.И. Сандомирская формулируют ее словами А. Платонова «а ведь это сверху кажется – внизу масса, а тут – отдельные люди живут» [1996, с.27]: нарративный анализ позволяет одновременно увидеть уникальность биографического повествования и обозначить типичность представленной в нем жизненной траектории в заданном социально-историческом контексте.

1. *Рюноскэ А.* Сборник. Пер. с яп. / Сост., вступ. сл. Л.С. Калюжная. М., 2001. С.277. [↑](#footnote-ref-1)
2. The Oxford Paperback Dictionary: Third Edition / Compiled by J. M. Hawkins. Oxford, 1988. [↑](#footnote-ref-2)
3. Слово «синхронный» означает «одновременный», в отличие от диахронный – «через время, исторический». До Соссюра лингвисты изучали язык, прослеживая историю слова до момента его появления; Соссюр же анализировал структурные отношения в языке в том виде, в каком они обнаруживаются в современном языке, не учитывая произошедшие в течение лет изменения. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Мураками Х.* Слушай песню ветра. Пинбол 1973: Романы / Пер. с яп. В. Смоленского. М., 2002. С.295. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Анфимов А.М*. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. С.7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Хотя фактически устная история так же стара, как сама история, – в дописьменных обществах вся история была устной. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Эстерхази П.* Записки синего чулка и другие тексты: эссе, публицистика / Сост., послесл. и пер. с венг. В. Середы. М., 2001. С.18,170. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Мураками Х.* Слушай песню ветра. Пинбол 1973: Романы / Пер. с яп. В. Смоленского. М., 2002. С.7. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Улицкая Л.* Люди нашего царя. М., 2005. С.7. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Турнье М.* Пятница, или Тихоокеанский лимб: Роман / Пер. с фр. И. Волевич. СПб., 1999. С.60-61. [↑](#footnote-ref-10)
11. См., например: *Бибиш.* Танцовщица из Хивы, или история простодушной. СПб., 2004. Данная литературная форма – реалистичное, литературно необработанное нарративное письмо – вызвала огромный интерес российских читателей, поскольку нарративы личного опыта позволяют узнать о людях, живущих рядом с нами, но не входящих в сферу нашего повседневного круга общения. [↑](#footnote-ref-11)
12. Миф здесь понимается широко – как набор индивидуальных, групповых и институциональных концепций, которые описывают, интерпретируют и оценивают опыт через метафоры, символы, образы и периодизацию событий [Робертс, 2004, с.14]. [↑](#footnote-ref-12)
13. Этимологическое значение слова «дискурс» - «бегать туда-обратно» и тем самым создавать путь, курс, паттерн регулярностей, которые делают человеческое существование более устойчивым [Chia, 2000, p.517]. [↑](#footnote-ref-13)
14. Лингвистико-энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990. С.132-136. [↑](#footnote-ref-14)
15. По своим структурным и содержательным характеристикам обыденное мышление современного человека достаточно близко мифологическому, поскольку рациональные знания и популярные научные сведения существуют скорее как убеждения. Им, как и мифам, свойственны нечувствительность к противоречиям, однородность содержания, аффективная насыщенность. Разнообразные социальные представления также имеют форму мифов и функционируют как мифы [Улыбина, 2001, с.103]. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Кундера М.* Неведение: Роман / Пер. с фр. Н. Шульгиной. СПб., 2004. С.120-121. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Коэльо П.* Заир / Пер. с португ. М., 2005. С.80. [↑](#footnote-ref-17)
18. По определению Т.М. Дридзе [Киселева, 1994, с.114], коэффициент информативности представляет собой отношение общего числа синтаксем в ответе к числу синтаксем, вошедших в логико-фактологическую цепочку; чем ближе коэффициент к единице, тем выше уровень первичной информативности ответа и тем более совершенна формулировка вопроса. [↑](#footnote-ref-18)
19. Тип здесь понимается как результат сложной теоретической реконструкции исследуемого множества: тип – некий объект, выделяемый по ряду критериев из всего множества и рассматриваемый в качестве его представителя. Речь идет о некоем обобщенном образе характерного явления – «типическом», т.е. можно заданным способом разбить изучаемую совокупность на группы (типология) [Татарова, 1996, с.101‑102]. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Кундера М.* Неведение: Роман / Пер. с фр. Н. Шульгиной. СПб., 2004. С.74. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Шанин Т.* Понятие крестьянства // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия / Сост. Т. Шанин. М., 1992. [↑](#footnote-ref-21)